МИХАИЛ ПРИШВИН

Колобок



ОГИЗ СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК — 1936

М. Пришвин

КОЛОБОК

Огиз Севкрайгиз
1936

Эта книга, написанная в 1906 году и дополненная автором, после вторичного посещения тех же мест в 1933 году, отдельными главами, отмеченными в оглавлении звездочкой, дает художественное описание северного побережья от Архангельска до северных берегов Норвегии — Беломорья, Соловецких островов, Лапландии, Кольского полуострова, Мурманска и мест, где пролегает теперь Беломорско-Балтийский канал.

Солнечные ночи



КОЛОБОК

В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то.

— Бабушка, — сказал я, — испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни с две и сделала веселый колобок. Он полежал-полежал да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота — дальше, дальше...

У росстани остановился колобок. А я сел на камень и осмотрелся. Впереди меня на берегу плачет последняя березка, позади город — узкая полоска домов между синей тундрой и Белым морем. Направо — морской путь в Ледовитый океан, налево — береговая тропинка лесами к святым Соловецким островам. Куда поведет колобок: направо — в море, или налево — в лес?

Хотелось бы мне итти с моряками. У них такая смелость в лицах, не похожая на смирение пахарей моей родины. Если я пойду за богомольцами, кажется мне, то не на север, за полярный круг попаду, а в родную соломенную черноземную деревню. Я увижу там знакомую страшную безликую икону, на которой огонек лампады отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем. Страшная икона посылает грешников в адский огонь. И, вперед напуганные, идут безликие смиренные богомольцы к этому черному сердцу России. Нет, я хочу итти в море! Но оно чужое мне. А где богомольцы — лес, родной. И в лес тянет меня волшебный колобок.

Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо старичок. Попытаю его.

— Здравствуй, дедушка!

Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка.

Спрашивает:

— Куда ты идешь?

— Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, куда глаза глядят.

— Дела пытаешь или от дела лытаешь?

— Попадется дело — рад делу, но только, вернее, от дела лытаю.

— Ишь ты, — старик качает головой, — дела да случаи всех примучили, вот и разбегается народ...

— Укажи мне, дедушка, землю, — прошу я, — где не перевелись бабушки-задворенки, кощеи бессмертные и Марьи Моревны? Где есть еще славные, могучие богатыри?

— Поезжай в Дураково, — отвечает старик: — нет глуше места.

«Шустрый дед!» — подумал я, собираясь ответить смешно и необидно. И вдруг сам увидал на своей карманной карте Дураково — беломорскую деревню против Святых островов.

— Дураково! — воскликнул я. — Вот Дураково!

— Ты думал, я шучу? — улыбнулся старик. — Дураково есть у нас, самое глухое и самое глупое место.

Дураково мне почему-то понравилось; я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Так думал я и спросил старика:

— Нельзя ли мне из Дуракова на лодке переехать по морю на Святые острова?

— Перевезут! — ответил он мне.

Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей.

— Подожди немного на камне, — сказал дед, — кажется,

здесь есть дураковцы, они лучше меня расскажут. Если тут, я их к тебе пришлю. Счастливый путь!

Через минуту вместо старика пришел молодой человек, с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами, — такие они у него были ясные и простые.

— Барин, раздели наше море! — были его первые слова.

Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море и тем даже объяснил себе преимущества северных людей: земля дробится, но море неделимо.

— Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло.

В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе семужных тонь с соседней деревней.

Нужен был начальник, но в Дураково ехать никто не хотел.

— Барин, — продолжал упрашивать меня деревенский ходок, — не смотри ты ни на кого, раздели ты сам.

Я понял, что меня принимают за важное лицо. В северном народе, я знал, существует легенда о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему свету, и понял, что теперь конец мне.

Я по опыту знал, что стоит только деревне в страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут все бабушки-задворенки, все лешие и колдуны, на лице народа появляется то льстивая, то недружелюбная мина, сам перестанешь верить в свое дело, и колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я не начальство, что иду я за сказками: объяснил ему, зачем это мне нужно.

Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым, чистым глазам.

Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Колобок покатился и запел свою песенку:

Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел...

ЛЕС

15 мая

Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, — добрались до деревушки Сюзьмы. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные Горы — деревню у самого моря по эту сторону Унской губы. Мы расстались; я отдохнул день и пошел в Красные Горы.

Путь мой лежал по краю лесов и моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром, они будто бабочки с оборванными крыльями. А иногда деревья срастаются в густую чащу, встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые, прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба; есть совсем пустые чрные места. Тут много могил. Но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, была весна: березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выпрямлялись.

Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой, как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов. Но больше всего мне нравилось подкрадываться к незнакомым морским птицам. Издали я замечал спокойные то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две; воздух на севере прозрачный, я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное рас-

стояние к незнакомым птицам — вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная, смешная забава переходит в серьезную страсть. Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю потому, что так много всего этого в себе; я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка, тянется, вероятно, с любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать. И будто стонет она... Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю: все пропало, птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх. Все спокойно; больные сосны на солнце, ослепительно сверкает зелень северных березок; все тихо, все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню, приготовляю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю из-за камня, скрывая ружье в мягком ягеле.

Иногда в четырех-пяти шагах перед собой я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз — к семье лебедей.

Мне страшно шевельнуться, я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное горькое воспоминание не обломит под локтем сучок, и все птицы со страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев не разлетятся в разные стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица не дострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе как о чем-то очень нехорошем: мне тогда кажется, будто это чувство питается одновременным стремлением к убийству и любви, а так как оно исходит из недр природы, то и природа для меня как охотника — только теснейшее соприкосновение убийства и любви... Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я забываю то, о чем думал минутою раньше.

КРАСНЫЕ ГОРЫ

19 мая

В одном из черных домиков у моря, под сосной с сухой вершиной, живет бабушка-задворенка. Ее избушка называется почтовой станцией, и обязанность старушки — охранять чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь — на север, через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.

— Бабушка, — прошу я, — дай мне сковородку, птицу изжарить.

Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит:

— Мало вас тут шатается! Не дам, прожгешь.

Я вспоминаю предупреждение Алексея: «Где хочешь живи, но не селись ты на почтовой станции, — съест тебя злая старуха», — и раскаиваюсь, что пришел к ней.

— Ах ты, баба-Яга, костяная твоя нога!

За это она меня вовсе гонит — под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и занять помещение. Генерал же едет в Дураково море делить.

Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала:

— Да, вишь, и приехали за генералом. Вон идут с моря. Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел.

А потом еще раз оглядела меня и ахнула:

— Да уж не сам ли ты генерал?!

— Нет, нет, бабушка, — спешу я ответить, — я не генерал, а только лодка эта за мной послана.

— Ин и есть! Вот так и пу! Прости меня, ваше превосходительство, старуху! За политика тебя приняла: нынче все по-

литику везут. Сила несметная, — все лето везут и везут... Марьюшка, ощипли ты поскорей курочек, а я яишенку поставлю.

Я умоляю бабушку мне поверить. Но она не верит: я настоящий генерал; я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур.

Тут вошли три помора и две женки — экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут все «коршик», остальные — гребцы: обе женки с грубыми, обветренными лицами, потом «мужичок-с-ноготок — борода с локоток» и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок.

Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом мужичок-с-ноготок, не обращая на меня внимания, сыплет свои прибаутки женке, похожей на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: «Ой, одолил, Степан! Степаны сказки хлебны, скоромны. Вот бородку вокруг кулака обмотаю да и выдерну».

Но как же это? Ведь я же генерал! Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря?

— Приезжай, приезжай, — говорят все, — у нас хороший, приемистый народ. Живем мы у моря. Живем в стороне, летом семужку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смиреный: ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ, что тюлень. Приезжай.

Сидим, болтаем; близится вечер и белая ночь у Белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у берега, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь.

Степан начинает рассказывать длинную сказку про златоперого ерша.

МОРЕ

20 мая

Мы выедем только на рассвете «полой водой» (во время прилива). Каждые шесть часов на Белом море вода прибывает и потом шесть часов убывает. «По сухой воде» (во время отлива) наша лодка где-то не проходит.

С каждым днем светлеют все ночи, потому что я еду на север, и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаю с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Я будто изо дня в день больше и больше пью неведомый наркотический напиток. Спать привыкаю днем.

Мужичок-с-ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается, по золотой луже на дороге.

— Солнце у вас садится? — перебиваю я сказку.

— Почитай, что и не з а к а т а е т с я: уткнется, как утка, в воду — и наверх.

И опять журчит сказка, и блестит лужица. Кто-то, слышно, спит. Пробегает серая мышь.

— Да вы спите, крещеные? — останавливается рассказчик.

— Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик!

— Ай еще потешить вас сказочкой? Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы-дивные, чуды-чудные.

— Мани, мани, старик!

Все попрежнему журчит сказочка.

Пробежала еще одна темная мышь. Захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула женка, уснула другая. Но старуха не спит. Это она остановила день, заворожила ночь, и оттого этот день походит на ночь и эта ночь — на день.

— Все уснули, крещеные? — опять окликает мужичок-с-ноготок.

— Нет, я не сплю, рассказывай.

— Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная...

Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слышно... Из одной бабушки-задворенки делается четыре, из каждого угла глядит черная злая колдунья.

Пробежали Зорька, Вечерка, Полуночка. Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая...

Спохватился рассказчик:

— Вставайте, крещеные, вода прибывает, вставайте! Пошлет господь поветрь, в лодке уснете.

Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке, провожает нас.

Спите, спите, добрые, мы свои.

— Тишинка! — шепчет женка.

— Краса! — отвечает Иванушка.

Задумалась женка, забыла свое некрасивое лицо, в лодке улетела по цветным полоскам и, прекрасная, засияла во все море и небо. Стукнул веслом Иванушка, разбудил в воде огнистые зыбульки.

— Зыбульки зыбаются...

— А там парус, судно бежит!

Все смеются надо мной.

— Не парус, это чайка уснула на камне.

Подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зевает и летит далеко-далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет... Там дальше морская глубина. А может быть там, в неизвестной пурпуровой дали, где-нибудь служат обедню? Это первая, мы ее разбудили, она полетела, но еще не звонили.

Что это? Прозвенела светлая, острая стрела?.. Или это наши южные степи сюда, на север откликнулись?

— Что это, крещеные?

— Журавли проснулись.

— А там что, наверху?

— Гагара вопит.

— Там?

— Кривки на песочке накликают.

Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка.

Гуси — совсем как первые старики по дороге в деревенскую церковь. Потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно: все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба. Летят молча, только крылья шумят.

К обедне, к обедне! — зовут птицы.

Когда это, где это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обедню?

Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, — говорливые, болтливые, совсем как деревенские девушки после обедни.

Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный мужичок-с-ноготок с женкой. И где-то далеко у берега умирает прибой.

— Иващенько, Иващенько, выдь на бережочек, — зовут с берега горки, сосны и камни.

— Челнок, челнок, плыви дальшенько, — улыбается рассеянно Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки. Женки затянули старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песнь, треплет ее вместе с парусом, перепутывает ее с огненными зыбульками. Лодка колышется на волнах, как люлька. Все добродушней, ленивей становится мысль.

— Чайку бы...

— Можно, можно... Женки, грейте самовар!

Разводят самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на женках. Немножко поломались и выпили.

Много ли нужно для счастья! Сейчас, в эти минуты я ничего для себя не желаю.

— А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?

Глупый царевич не понимает.

— Ну, любовь. Любишь ты?

Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь — нехорошее слово: оно выражает грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов. От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни слово «любовь» нехорошо и обидно.

— Жениться собираешься? Есть невеста?

— Есть, да у таты все не готово. Изба не покрыта. В подмоге не сходятся.

Женки наши слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше. В прежние годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.

— Дорогая Марья Моревна?

— Голой рукой не возьмешь, разве убегом.

— Вот, вот, — подхватываю я, — надо украсть Марью Моревну.

— Поди-ка, украдь, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все изодрались, и всю рубашку вокруг невесты изорвали. Потемнеет осенью, может быть, и украду.

Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они — грезы о нездешнем мире. Этой избушки в лесу вовсе и не было, никто не рассказывал сказки, а просто так померещилось, и запомнился мелькающий свет от улетевшей вчера из рук белой станички.

Усталость! Страшная усталость! Как бы хорошо теперь заснуть нашей темною, южной, грешною ночью!

Бай-бай... — качает море.

Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе.

Усни, глазок, усни, другой!

Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает.

— Что это? Белуха? — неуверенно спрашиваю я.

— Она, она. Ух! И там!

— И там! И там! Что лед! Воду сушит!

Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом?..

— Ничего, ничего, — успокаивают меня спутники, — так не бывает.

Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей. Когда вот так, как теперь, засверкают на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по две крепких сети и из всех этих частей сшивают длинную, больше трех верст, сеть. В море выезжает целый флот лодок: женщины, мужчины, старые, молодые — все тут. Когда белуха запутается, ее принимают на кутило (гарпун).

— Веселое дело! Тут и женок купают, тут и зверя бьют. Смеху, граю! И женки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться.

Как же это красиво! Большие хвостатые звери, женщины с пиками... Сказочная, фантастическая битва на море...

Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега. Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Женки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки, у потухшего самовара. Мужичок-с-ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу.

Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю. Иногда вижу бородатого мужика и блестки от серебряных зверей, а иногда ничего, — какие-то красные огоньки и искры во тьме.

Наша зыбка не скрипит, ветер не свистит о мачту.

Не все ли равно, где ни жить? Везде есть люди: немножко проще, немножко сложнее. Но тут свободнее, тут море и эти красивые серебряные звери. Вон там один, вон другой, вон лодка, другая, целый флот. Иванушка с Марьей Моревной закидывают в море сеть. Запутался большой северный серебряный зверь.

Ударила кутилом Марья Моревна, покрылось кровью Белое море.

— Марья Моревна, морская царевна, — молит он человеческим голосом, — за что ты меня губишь? Не коли меня, я тебе пригожусь.

Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза в холодное Белое море.

— Спасай меня, красная девица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море!

Взял платочек, прижал к своей ране и спустился на холодное море.

И лежал там тысячи лет.

Плачет купава у берега.

— Слышишь, старый?

— Слышу, деточки, слышу.

Поднимается старый, сверкает серебряной спиной на солнце и несет свою Марью Моревну по Белому морю на Святые острова.

Где это было, когда это было, что это было?

Сказки и белые ночи и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный рассудочный северный день.

Я проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка.

Высокий берег с больными северными соснами. На песок к берегу с угора сбежала заморская деревушка. Повыше — деревянная церковь и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми блестящими одеждами. Как в сказках, которые я записываю здесь, со слов народа.

— Праздник, — говорит Иванушка, — девки на угор вышли, песни поют.

— Праздник, праздник! — радуются женки, что ветер донес их во-время домой.

Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками. А внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды

погреться на берег. Я догадываюсь, — они сшивают сети для ловли дельфинов.

Мы приехали не во-время, в сухую воду.

Между нами и песчаным берегом широкая, черная, покрытая камнями, лужами и водорослями, темная полоса; тут лежат, наклонившись набок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива, «куйпога».

Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воде и грязи. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.

— Что вы тут делаете, мальчики?

— Топчем камбалку.

Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку. Поют:

Муля, муля, приходи, цело стадо приводи,
Либо двух, либо трех, либо целых четырех...

«Муля» — какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда на отлив с угора, а быть может море их тут забыло вместе с рыбами.

Старый кормщик улыбается моему вниманию к этим свободным детям и говорит:

— Кто от чего родится, тот тем и занимается.

Кое-как мы достигаем берега; теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке: поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только женки уходят в деревню, — верно, собираются на угор. Мужичок-с-ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать.

Покрутит-покрутит и ступит на шаг. А навстречу ему с другого конца отступает точно такой же мужичок-с-ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики?

Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну.

Мы поднимаемся на угор.

— Здравствуйте, красавицы!

— Добро пожаловать, молодцы!

Девушки в парчевых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто девушки вышли из моря.

Одна впереди: лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая. Совсем наша южная красавица — ноченька темная со звездами и месяцем.

— Эта Марья Моревна?

— Эта... — шепчет Иванушка. — Отец вон там живет, вон большой дом с крестом.

— Кощей Бессмертный? — спрашиваю я.

— Кощей и есть, — смеется Иванушка. — Кощей богач. У него ты и переночуешь и поживешь, коли поглянется.

Солнце остановилось у моря и боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кощея на угор.

Мы идем туда.

— Здравствуйте, милости просим!

Сухой, костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх, в «чистую комнату».

— Отдохни, отдохни. Ничего. Что ж. Дорога дальняя. Уморился.

Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню: это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качать — и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.

Впереди, за окном, большой восьмиконечный крест и горящее полуночной зарей море. На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, и те два смешные старика все крутят веревочки, все еще не встретились, все еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок. Долетают песни с угора.

Бай-бай... — качает море. Грезится девица с темной косой. Брызнули звезды. Выглянул месяц. Заиграло певучее дерево. Запели птицы разными голосами. Грешная красавица шепчет: «Спи-усни. Спи, глазок, усни, другой...»

Ноченька темная, радость моя...

Это грезы... Светлая северная ночь. Все тихо. Спят. Как они могут спать такой светлой, безгрешной ночью? Покоятся. Сверк-

нула золотая шубейка под черным крестом. Стукнуло внизу, стихло. Уснула.

Бай-бай, сестрица, бай-бай, родимая...

Шепчет темная красавица своей светлой непонятной сестрице:

— Спи, милая, спи, родимая. Что тебе на сердце пало? Так и не скажешь? Ну, спи. Спи-усни. Усни, глазок, усни, другой...

Закрыла глазок, закрыла другой, а про третий забыла...

И попрежнему смотрит светлая сестрица, молчит в своей нездешней смертельной тоске.

По всему небесному своду, по земле, по воде обвела колдунья мертвою рукою заколдованный круг.

И земля-то спит, и вода-то спит!

Качает красавица старого медведя.

Бай-бай... Скрип-скрип...

Вдруг утка крякнула, берега звякнули. Полетели гуси-лебеди.

Гуси-лебеди, гуси-лебеди, киньте два перышка, возьмите меня с собой!

Кинули гуси-лебеди два перышка. Упали два белые на черный крест.

Подкрался Иван-царевич, прислонился к кресту, шепчет:

— Выходи, Марья Моревна, спустили нам гуси-лебеди два пера.

Летят царевич с царевной над морем.

Дедушка водяной высунул голову. Какой он!.. Видно все его желтое старое тело. Зачем так? Спрячься!..

— Дедушка, дедушка, где твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно нас?

— Видно, деточки, видно. Летите скорее.

— И так видно?

— Всяко видно. Летите, летите.

Бай-бай... Скрип-скрип...

У МАРЬИ МОРЕВНЫ

21 мая

Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок.

Так свежа, молода эта песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...»

Я в «чистой» комнате зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску голубок. В верхнем этаже чистая комната для гостей, а внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук. Будто от деревенского прядильного станка.

И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений. Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и верить, что это — серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за полярным кругом, в Лапландии, будут настоящие солнечные ночи.

Я умываюсь. Чувствую себя бесконечно здоровым.

Мое занятие — этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще? Все эти сказки и былины говорят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. В создании их участвовал не один только русский народ. Нет, я имею перед собою не национальную душу, а всемирную, стихийную.

Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу, я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут, в деревне, не люди? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лап-

ландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери. Как тогда? Ничего. Я выберу какого-нибудь умного зверя. Говорят, тюлени очнь кроткие и умные. А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный блеск не сходящего с неба солнца? Что тогда? Камни и свет... Нет, этого я не хочу. Мне сейчас страшно... Мне необходимо нужен хотя какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах, да очень просто: я загляну в бездну и удеру — ла-та-та.. И опять запою:

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...

Ничего... Мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз.

— Стук, стук! Есть ли кто тут жив человек?

Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна.

— Здравствуй, Марья Моревна, — как тебя зовут?

— Машей!

— Так и зовут?

Царевна смеется.

Ах, эти веселые белые зубы!

— Чайку хочешь?

— Налей.

Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянной втулкой. Так в старину по всей Руси подавали милостыню. Приходили странники, калики-перехожие и свой близкий человек. Левая рука не знала, что делает правая. А может быть и не так хорошо было, как кажется?

Но вот это отверстие. Старина...

— Как это называется? — спрашиваю я о какой-то части станка.

— Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница, пришвица.

Я спрашиваю обо всем в избе, мне все нужно знать, и как же иначе начать разговор с прекрасной царевной? Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем.

Пылает знаменитая русская печь, огромная, несуразная. Но без нее невозможна русская сказка. Вот теплая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку со смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью; вот подпечье, откуда выбежала к красной девице мышка.

— Спасибо тебе, Маша, что чаем напоила, я тебе за это Иванушку посватаю.

Горят щеки царевны ярче пламени в печи; сердитая, бросает гордо:

— Изба низка! Есть и получше, да не иду.

«Врет все, — думаю я, — а сама рада».

Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом куртку, останавливается глазами на моей голове и говорит ласково:

— Какой ты черный!

— Не подъезжай, не подъезжай, — отвечаю я, — сосватаю и так Иванушку.

Она меня не понимает. Она просто по дружбе подсела, а я уже вижу корыстную цель. Она меня не понимает и не слушает. Да и зачем это? Разве все эти вещи — карандаш в оправе, записная книжка, часы, фотографический аппарат — не говорят больше всяких слов об интересном госте?

Я снимаю с нее фотографию, и мы становимся близкими друзьями.

— Поедем семгу ловить, — предлагает она мне совсем уже попросту.

— Поедем.

На берегу мы возимся с лодкой; откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична; она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно:

— Губ не мочи, говорить не хочу.

Тогда начинается разговор о семге, — как в гостиной о предметах искусства.

— Семга, видишь ли, — говорит мне Иванушка, — идет с лета. Человек ходит по свету, а семга по месяцу. Вот ей на пути и ставим тайник, ловушку.

Мне тут же и показывают этот тайник: несколько сетей, сшитых так, чтобы семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и покачиваться в лодке?

— Другой раз и неделю просидишь, — угадывает меня Иванушка, — две, и месяц... ничего. А придет час удачи — за все ответит.

Подальше от нас покачивается еще такая же лодка, дальше — еще и еще... И так сидят недели, месяцы, с весны до зимы, стерегут, как бы не ушла из тайника семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой, или передавать на полотно эти северные краски, — не тоны, полутоны, а может быть десятые тонов... Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой! И как мало людей ее понимают и ценят!

Я замечтался и, наверно, пропустил бы семгу, если бы был рыбаком. Марья Моревна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком.

— Семга, семга! — тихо шепчет она.

— Перо сушит, — отвечает Иванушка.

Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх, показывает перо (плавник) из воды.

Мы поднимаем сеть и вместо дорогой семги вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную. Жених с невестой заливаются смехом. Вышел веселый анекдот:

— Семга, семга, а ин свинка!

Не знаю, сколько бы продолжалась наша пастораль на море, как вдруг произошло крупнейшее событие.

Прежде всего я заметил, что к кучке рыбаков на берегу подошла другая кучка, потом третья, потом собралась вся деревня, даже женки и ребятишки; под конец и оба смешные старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялись невероятный шум, крик, брань.

Я видел с воды, как из толпы там и тут выскакивала жидкая борода Кощея Бессмертного, будто он был дирижером этого концерта на берегу Белого моря...

Мало-по-малу все улеглось. От толпы отделились десять седых мудрых старцев и направились к дому Кощея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кощей подошел к берегу и закричал нам:

— Греби сюда, Ма-аша!

Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Моревна гребет.

— Старики с тобой поговорить хотят, господин, — встретил нас Кощей.

— Что-то недоброе, что-то недоброе! — шепнул мне волшебный колобок.

Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют.

— Что такое? Что вы? — спрашиваю я глазами.

Но они смеются моей свинке, приговаривают:

— Семга, семга, а ин свинка!

Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому — нерпа, третий вытащил то, что ни на что не похоже.

Так долго продолжался оживленный, но искусственный разговор. Наконец все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший гусь, повторяет: «Семга, семга, а ин свинка».

— Но в чем же дело? Что вам нужно? — не выдерживаю я этого тягостного молчания.

Мне отвечает самый старый, самый мудрый:

— Тут приходил человек из Дуракова...

— Алексей, — говорю я и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом. Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай, мои сказки!

— Алексей? — спрашиваю я.

— Алексей, Алексей, — отвечают разом все десять.

А самый мудрый, седой, продолжает:

— Алексей сказывал: едет от государя императора член Государственной думы море делить в Дураково. Кланяемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семужку!

Старик подносит мне огромную, пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках уже есть свинка.

— Брось ты эту дрянь, на что она тебе? Вот какую рыбинку мы тебе изловили.

Другой старик вынимает из пазухи бумагу и подает. Я читаю:

„Члену Государственной думы по фотографическому отделению.

Прошение.

Население умножилось, а море по-старому, сделай милость, житья нет, раздели нам море...“

Что такое? Глазам не верю... И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей, и я расписывался: «От Географического общества». Потом — фотографический аппарат... И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где нехватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вековую вражду.

И у меня мелькает мысль: а почему бы и не разделить мне этим бедным людям море? Раз тут не бывает начальство, то не есть ли это перст судьбы, предначертавший мне и здесь, в пустыне, выполнить свой гражданский долг? Здесь мои поэтические стремления, всегда противоположные жизни, сливаются с грубейшим бытием, здесь, в этой беломорской деревушке я и поэт, и ученый, и гражданин.

— Хорошо, — говорю я старцам, — хорошо, друзья, я разделю вам море.

Мне нужен точный подсчет экономического положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия как основы экономической жизни народа.

— Что вы сеете здесь, старички?

— Сеем, батюшка, все, да не родится ничего.

Я так и записываю. Потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство в шесть душ нужно двенадцать

кулей муки. Узнаю, что кроме необходимых потребностей существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки.

— Откуда же вы берете на это деньги?

— А вот, поди знай, откуда взять! — ответили все десять.

Но я все-таки узнаю: деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги.

Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги.

— Стало быть, кормит вас семга?

— Она, матушка. Сделай милость, раздели!

— Хорошо, — говорю я. — Теперь к разделу. Сколько у вас душ?

Старцы ответили. Я записал.

— С женками?

— Нет. Женские души не считаются, тех хоть сколько ни будь.

Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на двадцать верст, в другую — на восемь, что на каждой версте находится тоня. Я записываю названия тоней: Баклан, Волчок, Солдат... Узнаю своеобразные способы раздела этих тонь на жребии и число тонь крестьянских, архиерейских, Сийского, Никольского и Холмогорского монастырей.

Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дуракова. Но претензий старцев на тони этой, еще более бедной деревни понять не могу.

— Почтенные, мудрые старцы, — наконец говорю я. — Без соседей я море делить вам не буду: пошлите немедленно Иванушку за представителями.

Старцы молчат, гладят бороды.

— Да зачем нам дураковцы?

— Как зачем? Море делить!

— Так не с ними делить! — кричат все вместе. — Дураковцы нас не обижают. Это их с Золотицей делить, только не нас. Нас с монахами делить. А дураковцы ничего... тех с Золотицей. Монахи самые лучшие тони отобрали.

— Как же они смели? По какому праву?

— Права у них, батюшка, давние, еще со времени Марфы Посадницы.

— И вы их уважаете... эти права?

Старцы чешутся, поглаживают бороды; очевидно, уважают.

— Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить?

— А мы, ваше превосходительство, думали, что как ты от Государственной думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать?

До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово: «согнать». Просто и ясно, — я здесь генерал или член Государственной думы: почему бы не согнать этих монахов, зачем им семга? Я — враг этих длинных рыб на архиерейском столе. Согнать! Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник и, куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов, но все больше и больше запутываюсь.

«Семга, семга, — думают старцы, — а ин свинка!»

А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и, боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок!

„ПО ОБЕЩАНИЮ“

9 июня

Еще немного на север, еще несколькими днями ближе к времени летнего солнцестояния. Теперь я уже приучил себя спать днем — так крепко, как никогда не спал дома. Но, как только солнце приближается к воде, я просыпаюсь и брожу возле моря, будто ожидая чего-то особенного. Брожу всю ночь и утро, пока не станет обыкновенно, так же, как и у нас, так же, как и у всякого моря днем при хорошей или при дурной погоде.

Сегодня мой хозяин, перевозчик богомольцев на Соловецкие острова, просил меня не уходить. Вчера ночью пришел последний, десятый странник, и на рассвете старик повезет нас, десять грешников, на Святые острова.

От нечего делать опишу вчерашнюю ночь. Не знаю только, что из этого выйдет: я не привык писать ночью при свете солнца.

Вчера меня разбудил ночной солнечный луч. Я пробудился и вдруг представил себе свое путешествие, как восхождение на высокую солнечную гору. Иду туда из темного туннеля, — сначала мне виден только бледный свет, потом ярче и ярче разгорается заря, и я выхожу. Тут лес, видно море. Но еще выше нет леса, еще выше какие-то темные скалы в вечном сиянии солнца. Иду наверх по камням. Что там?

На стене висит охотничье ружье; беру его, заряжаю на уток и выхожу бродить по своей таинственной солнечной горе.

Перед самым домом моего хозяина спит на кольях огромный невод, спят шкуры морских зверей, спят длинные, сухие рыбы. Подальше к морю улеглись, повернувшись спиною наверх, лодки, у самой воды свесился неизменный черный крест. Там сидит старик с огромными плечами, будто выбитый холодным морем каменный истукан. Он такой неподвижный и покойный, что даже белая птица на кресте не боится его, принимая за камень.

Это мой хозяин, помор, — сидит без дела, дожидается странников-богомольцев.

Подхожу к нему. Он не обращает на меня внимания, молчит: северные люди скупы на слова. И не только люди, но и все, вся природа. Вот только ленивая прибойная волна рассыпается и говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте...

— Все море копается, все море копается, — говорит он наконец. — А отчего копается? Видно, уже ему так богом написано.

Он смотрит на золотой путь и будто там, вдали, ищет причину. И там, в море, отвечают. Из воды навстречу солнцу выдвигается золотое подножие. Красный потухающий диск, на который теперь можно долго смотреть, сжимается, вытягивается навстречу солнцу и сливается с ним. Что это? «Престол господний», — скажут поморы. Не знают — что, но на минуту так понятно, отчего светит небо, и копается море, и волна так лениво и радостно говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте...

— Солнце у нас, — говорит старик, — неглубоко садится. Аршина на два, не больше, под морем идет. И вон там покажется. Вон там!

Он показывает место на небе, где солнце взойдет.

— А другой раз и вовсе не таится, все кромочка по воде идет. И пойдет, и пойдет. Оглянулся, а оно уже и опять показалось, опять светится.

Я оставляю деда и ухожу по берегу моря прочь от деревни. Не хочу ни о чем думать, ни во что вмешиваться здесь, пусть само выскажется, если есть что сказать.

Направо от меня, на довольно высоком песчаном берегу — первые сторожевые сосны, налево — огонек полуночной зари. У самых ног рассыпается белое кружево прибоя. Мне хочется взять это тонкое сплетение, сделать из него что-нибудь хорошее.

Но кружево тускнеет, остаются пузыри и черная, мертвая водоросль.

Я иду прямо по ровной линии, по упругому морскому песку, не сворачивая в сторону. Но кружево прибоя догоняет меня, мочит подошвы. Верно, начинается прилив, гудит сильнее. Надо взять поправей. Мне мешает большое дерево, сухое, черное, вы-

брошенное волной. И вот еще что-то. Шапка! Откуда эта шапка? А вот доски от разбитого судна и даже с гвоздями.

Прибой гудит все сильнее: ухнет и заскребет чем-то по дну, будто что-то подвинет, и стихнет, и еще подвинет.

Я смотрю на это место почти со страхом. Мне вспоминается рассказ старика, как его соседу посчастливилось: море ему выкинуло ящик с богатством. На языке поморов это называется «навалуха» — случайное, непрочное счастье. Сосед разбогател, хотел уже другой дом строить, но утонул. «Море, — сказал старик, — его к себе приняло: навалуха — не настоящее счастье».

Я остановился и жду.

Из белой пены показывается черный мокрый конец чего-то большого. На нем светится полуночный красный отблеск зари. Я догадываюсь: палуба от разбитой шкуны.

Иду дальше. Черные водоросли хрустят под ногами, будто я давлю что-то скользкое, полуживое. И пахнут чем-то неживым, мертвым. Мне начинает чудиться, что на верху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нет жизни, что и здесь уже, в этом белом сумраке, порхают души покойников, что я один живой и непрошеный.

Назад бы бегом... Но я борюсь с собой, осматриваю патроны в ружье, вглядываюсь в даль, нет ли птиц, нельзя ли увлечься, выстрелом рассеять этот тяжелый кошмар белой ночи на Белом море. Но птиц нет, — камни, песок, сосны, вереск.

Вместо радостного, знакомого мне, охотнику, солнечного бога, которого не нужно называть, который сам проходит и веселит, я чувствую — другой какой-то, черный бог требует своего названия, выражения. Мгновенье, — и я назову то, что лежит где-то темным бременем, станет легко и свободно. Но в самый решительный момент мне становится ясно, что если я сделаю так, то от чего-то ценнейшего в мире нужно отказаться без остатка, бросить даже это ружье и итти черной тропой, опустивши голову вниз. Я протестую, и черный бог остается без выражения.

Вдали, на одном камне что-то шевелится. Я думаю, что это морской зверь, взвожу курки — и вдруг вижу, что весь этот серый большой камень поднимается и движется мне навстречу.

Это человек идет, котомка за плечами, остроконечная войлочная шляпа закрывает почти все лицо. Может быть, это тот десятый богомолец Соловецкого монастыря, которого дожидается перевозчик?

В этой мертвой пустыне он мне кажется тяжелым осевшим на землю призраком, слишком грешным, чтобы подняться, как все, на вершину солнечной горы.

Он ровняется со мной. Я уже вижу его совсем черное лицо, повязанное платком, вижу кусочек рыжей бороды. Пусть бы проходил своей дорогой, но я зачем-то останавливаю его:

— Здравствуй! Далеко ли? Откуда?

— Иду по обещанию. Хвораю, хочу потрудиться. Иду по берегу до промысловой избушки, а ее все нету, и ночевать негде. Далеко ли до деревни?

— Вот деревня, скоро будет видно.

— Хотели меня на лодке подвезти. Отказался, охотники и без меня найдутся. Что я им путь загораживать буду?

Простой, обыкновенный человеческий язык радует меня. Хорошо, — думаю я, — вот так, как этот странник, итти по берегу моря и думать, что я совершаю подвиг, большое серьезное дело. Когда-то и мне хотелось пешком обойти всю родину, открыть в ней какую-то, никому не ведомую жизнь. Потом все это передумалось и не перешло в действие. Но вот идет же этот странник с котомкой и котелком, значит можно же это.

— Хорошо, — говорю я ему, — вот так итти. Ружье бы тебе.

Он изумляется:

— Ру-у-жье! Зачем ружье?

— Птиц бы стрелял по дороге, варил бы в котелке.

— Пти-иц!.. Пища у меня есть: сухариков припас, да и благодетели не оставят. Народ тут хороший, приемистый, странников жалеют, милостыню подают.

Я вижу, что сказал не так, как нужно, хочу поправиться:

— Ружье для защиты годится, — мало ли что может случиться по дороге.

Странник осматривает меня с ног до головы.

Ясно вижу, что думает:

«В своем ли уме?»

— Какая защита? Я ничего не боюсь. Иду вот и иду. Иду и

думаю, где бы мне праздник встретить. Нехорошо так, как приведется, праздник на камне встречать. Недалеко, говоришь, деревня?

— Вон она, видно.

— Прощай.

Он уходит. Несколько минут я слышу шаги его ног по мокрому песку, а потом попрежнему все замирает, и только прибой все подвигает и подвигает что-то из моря сюда. Кромочка солнца все еще идет у воды.

ПО МОРЮ К СВЯТЫМ ОСТРОВАМ

10 июня

— Собирайся, господин, вода прибывает. Камень срежет — и в путь!

Голос помора прервал мои воспоминания об алебастровых горах, но неиспользованный запас любви к ним я перенес на старика и на море и на все, что попадается там, на этом пути открытым морем, на лодке к Святым островам.

Прежде всего — старик. Он для меня мудрый и добрый зверь, с которым можно говорить. Его слова — точные, упругие, отскакивают от него, будто спелые плоды осенью; лишнего он не скажет, я люблю его за это. Он старый моряк, испытавший все на море. И за это я люблю его: крепкая стихийная душа — это целая сокровищница. А старик — совсем особенный моряк. Его называют юровщик. Мне объяснили это название так: юровщик значит — человек, который идет впереди, и за ним остается след, юро, — все те, которых он ведет за собой. Но, может быть, это значит — просто человек, имеющий дело с юровом, со стадом морских зверей. Каждый год, вот уже тридцать зим, этот юровщик во главе ромши (промысловой артели из восьми человек) пускается на льдине за морскими зверями. Эту льдину с людьми носит от одного края моря к другому между опасными подводными камнями, водоворотами, островами; случается, проносит и в океан. Юровщик — это предводитель на льдине: он ведет людей и выбирается из самых храбрых, справедливых и умных.*

---

* Автор передает здесь не воображаемую возможность, но точно изученную им действительность.

Мне рассказывали про старика, будто он возит богомольцев «по обещанию», будто с ним на море что-то случилось особенное, после чего он каждое лето возит богомольцев на Святые острова.

Песок еще теплый от дневного солнца. Мы ложимся на него и глядим на камень в море. Этот камень — наши часы. Как только прибылая вода покроет, «срежет» его, мы двинемся в путь к Соловецким островам. Вчера ночью пришел последний, десятый странник, тот самый, мрачный, с подвязанной щекой, которого я встретил вчера на берегу. По камню мы должны точно рассчитать время отъезда: выехать так, чтобы на середине пути нас подхватила вода, бегущая к Соловецким островам. Тогда, какая бы ни поднялась в море буря, она нас не догонит: море не успеет раскачаться. Мы смотрим на камень. Холодное северное море лежит теперь тихое, прекрасное, как обрадованная печальная девушка.

Юровщик знает, что все это хорошо, и говорит:

— Так уж не прямая ли гладинка к Святым островам. Краса! Вот поди ты: днем ветер, а ночью тишь. У этого ветра жена красивая: как вечер, ночь, так спать ложатся.

К нам подходит молодой парень, сын юровщика, и тоже глядит на камень. По его лицу, высоко над нами, я узнаю первый утренний свет.

Из моря долетает неровный плеск.

— Вода стегает, или зверь выстает?

— Вода у камня полощется.

— Краса какая, — жена и есть!

Немного спустя Ванька стоит весь розовый, а на лице старика выступают глубокие шрамы.

Камень срезало уже до половины.

— Ступай, буди богомольцев. Подкрашивает, солнышко выкатается... Слышишь?

— Зверь шевелится. Белуха дышит. Значит, сей день будет порато (очень) хорош, а завтра — погода.

— Что это?

Я слушаю все эти звуки северной природы, с которыми я еще не сроднился, которые еще не стали мне музыкой, как

на юге, но зато сулят столько возможностей и дают мне столько маленьких открытий. Я слушаю. Мало-по-малу к этим морским звукам присоединяются шаги богомольцев. Богомольцы подходят к нам и тоже замирают. Им, верно, страшно перед этой поездкой на лодке по морю, которого они никогда не видели. Им никогда и не снились эти дни без конца и эти ночи без звезд и луны, без тьмы. Но, может быть, они этому не очень изумляются и думают, что у Святых островов непременно должны быть такие чистые, безгрешные ночи и еще не такие чудеса.

Я узнаю тут старушку, которую видел на Северной Двине, в черном платке, из-под которого в профиль виден только подбородок; вижу пахаря в лаптях и сермяге; вижу вчерашнего странника, все такого же мрачного теперь, при восходе солнца, как и вчера ночью на той солнечной горе, где летают души умерших. Потом еще несколько ребят-годовиков, еще старушка, еще пахарь из какой-то другой губернии.

Юровщик не обращает ни малейшего внимания на странников, следит за ветром, радуется, что дует сильнее, и приговаривает свое: «Жена, жена и есть».

— Ты помни, — говорит он мне, — обеденник — хороший ветер, у него жена красивая: к вечеру стихает. Полуночник — тот злой: как начался, так и не стихнет. Шалонник — ярой: тот на море разбойник. Сток — ветер широкий, подтихает, как на солнце придет. Вот и все наши ветры.

— А западный?

— Запад — тот не в счет, тот на особом положении.

— Все равно, что Антихрист, — говорит черный странник.

— Ты откуда это знаешь? — удивляюсь я и смотрю на его темное лицо, на подвязанную щеку и кусок бороды, и, как черная тень, пробегает передо мной вчерашняя встреча, вчерашняя ночь.

— Так уж, знаю. Я везде и за везде-то бывал. Запад везде за Антихриста считается. Вот помалешеньку-помалешеньку завладеет всем Антихрист: спохватятся, да будет уж поздно.

Этот черный странник, кажется, всегда готов говорить об Антихристе. Солнце восходит; мне хочется говорить со стариком о красивой жене хорошего ветра. Но он поднимается с песка и объявляет:

— Камень срезало. В путь!

— Дайте поветрь! — шепчет моряк.

Как не помочь такому славному деду! Мы все, кроме старушек и больного черного странника, подкладываем катки под большую, тяжелую лодку и катим ее так к морю с берега. Потом укладываем котомки, усаживаем рядом старушек. Дед садится кормщиком, а сын его и годовики берутся за весла. Берег уплывает от нас, уплывает посеянная на песке между камнями и соснами деревенька: все еще прощается, напутствует нас большой черный восьмиконечный крест.

— Долго шли, теперь уж немного осталось, — шепчет старушка. — Донеси, батюшка.

— Донесет, донесет, — успокаивает ее юровщик: — море тихое, что скатерть лежит. Не впервой везу...

В такие ясные дни на Белом море часто играют белухи. Я уже привык к их серебристым спинам. Но странников смущают эти живые морские серебряные огни.

— Что это? — спрашивает пахарь.

— Белуха играет, — отвечает моряк, — большая, хвост у ней эва какой, сама пудов в пятьдесят.

— И ноги, и голова?

— Все есть.

— Вот так рыба!

— Зверь он, а не рыба. Конечно, не волк, не медведь.

Я привык к этим северным дельфинам и смотрю не туда, куда все, а вниз, в глубину. Или мелко еще, или вода очень прозрачная, но я вижу в глубине что-то темнозеленое.

Приглядываюсь и открываю там целый густой зеленый подводный лес. Я люблю лес, как бродяга: для меня он родной, он дороже мне всего, дороже моря и неба. Так хочется войти туда, в этот зеленый таинственный мир. Но это не настоящий, это сказочный лес, туда нельзя войти; мы слишком грубы, чтобы спуститься и слушать, как перешептываются рыбы у прутика водоросли.

— Море богаче земли, — слышу я, говорит моряк пахарю. — Зверей там всяких, рыбы... А мелочи этой и не счесть. Сол-

датики-красноголовики, в шапочках, перед семгой или перед погодой показываются. Да вот еще воронки, вроде как птенчики, идут, помахивают крылышками. Рак там есть большой, ражий, частолапчатый, хвост короткий. Звезды. Идут по дну моря, перебиваются. Море богаче земли!

Чудеса, чудеса, чудеса!

Я вижу, как из подводного леса движется живая точка, плывет к нам, показывается близко у лодки. Настоящий маленький морской кораблик с глубоко вырезанным парусом. Выплывает на поверхность, шевелит парусом со множеством тонких колеблющихся снастей.

Изумленные странники тоже замечают подводный кораблик.

Я хочу объяснить, что это медуза — животное, живое, но кормщик предупреждает меня.

— Это масло морское, — говорит он. — Тоже буде живое, идет да помахивает парусом, расширится да сузится, да вперед и вперед. Веслом толкнешь, вроде как убьешь.

Странники понимают, и мне не хочется припомнить зоологию: ведь и меня интересует в этой медузе то, что она «буде живая».

Я пробую поймать медузу рукой, касаюсь воды, но вместо медузы под рукой рассыпается ковер смеющихся искр и закрывает и медузу и таинственный морской лес. Потом я вижу, как быстро спускается сказочный кораблик к волшебному лесу и пропадает там. И лес закутывается глубиной и исчезает, как недоконченная сказка.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Старик рассказывает много чудес о море. Я слушаю его и в то же время брожу глазами по морю. Мы еще не выехали в открытое море: большой остров направо и синий длинный мыс налево образуют что-то вроде бухты. Я брожу глазами то по спокойной, как зеркало, воде у берегов, то заглядываю вперед, вдаль на темную воду, то на золотой искристый след лодки.

И вдруг замечаю: недалеко от лодки отчего-то возникает маленький водоворот, и бегут круги во все стороны. Отчего это? Будто камень булькнул в воду.

Но никто не бросал. Отчего это?

Гляжу на кружки и вижу, как в центре их показывается из моря большая черная человеческая голова. Струйки воды стекают с темного синеватого лба, золотые капли блестят на усах.

Не сразу я понимаю, что это тюлень, морской заяц.

Потом замечают странники, кормщик обертывается, старушки крестятся.

— Зверь, а что человек! — говорит пахарь.

— На человека он очень похож, — отвечает моряк. — Катары — что рученьки, что головка.

Тюлень долго плывет за нами, вдумывается кроткими умными глазами, так ли рассказывает моряк пахарю о морской глубине.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Мы проплываем на веслах мимо Жигжинского острова, откуда начинается открытое море. Жигжин — это один из тех островов, на котором, по преданию поморов, жило чудовище «Чудь». Это место и теперь опасно для мореплавателей, почему и поставлен тут маяк. Наконец, для путешественника, интересующегося народной жизнью, Жигжинский остров любопытен тем, что здесь можно услышать рассказы о том, как с этого острова поморы спускаются на льдине в Белое море для промыслов морских зверей. Я и раньше на берегу слышал рассказы про эти страшные, вероятно, нигде в мире не существующие уже промыслы. Но только тут, возле Жигжинского маяка узнал наконец все подробности этой невероятной, просто фантастической жизни. Я изучил жизнь поморов, напрягал все свое внимание, чтобы запомнить своеобразные выражения нашего перевозчика, и думаю, что теперь на бумаге я могу передать его замечательный рассказ с точностью.

Мы проплываем Жигжинский маяк, налево остается мыс Орлов; мы вступаем в открытое море; но если хорошо приглядеться, то на горизонте уже виднеются синие тени земли на море: то вытянутся вверх, будто высокие горы, то сплюснутся узкой полоской у воды, то вовсе оторвутся от воды и повиснут в воздухе.

— Бугрит, — называет так помор явление миражей на Белом море.

Чудеса!

Потом мы вступаем в полосу ветра; кормщик ставит парус.

Отлив тоже подхватывает нас, и лодка мчится, качается на волнах; брызги летят, обдают нас.

Странникам жутко: вот и назади начинает бугрить земля, подниматься на воздух.

— Ишь, притихли! — смеется кормщик. — А это не взводень, а только подсечка. Море наше бойкое. Летом еще мало ветры обижают, а вот поплавали бы вы осенью да зимой. У нас море и зимой не замерзает.

— Отчего? — спросил кто-то из молодых годовиков.

— Оттого, что оно велико, — отвечает помор, — все, что намерзает, то все уносит в горло, в океан. Счастье мне было, — говорит кормщик, — из тридцати зим только два раза и пронесло в океан.

— Расскажи, — стал я просить старика.

— Рассказал бы я тебе, государь мой, хороший человек, да старухи реветь будут. Как жили во льдах, так жутко!

Меня поддержали странники, и старик начал свой рассказ:

— Зима стояла лютая. Как по-вашему, по-ученому, государь мой, а по-нашему так в задние годы морозы крепче были. Морозы крепче, и люди крепче. Молодой народ, верно, стал полукавей, а наш народ был понатуристей. Лютая зима стояла! Сполохи играли — страсть! В ваших местах, слышно, этого нету?

— Нет, — отвечаю я старику, — у нас нет сполохов, — и, заинтересованный, как представляют себе поморы загадочное северное сияние, спросил:

— Отчего бывают сполохи, и какие они?

— Отчего бывают сполохи, я тебе не сумею сказать. Нам ли ведать, что в небе делается? Растворится небо, раскроется, будто загорится. Сперва расширится и опять врозь слетается в одно. Страшно глядеть! Выйдешь, на пороге постоишь, да и опять в избу скорей. Страшно! Толкуют, будто это льды шевелятся в океане. Только это пустяки. А еще — что океанская вода загорается... Оно будто и так: в темную ночь, как по морю идешь, все сзади светлая дорожка бежит, светится. Может, и загорается, но только где нам знать?.. Хорошо... Морозы стояли тре-

скучие, а льды в нашем море не останавливаются, все мимо идут, в горло да в океан, а уж там куда придется: вверх ли, вниз ли.

Тут я опять перебил старика. Меня поразило, что в океане, по словам помора, есть верх и низ, как в речке. Я объяснил это ему.

— В речке есть верх и низ, — ответил он мне, — и в океане тоже. Мы так считаем, что начало ему в горле нашего моря — тут верх его, а к Норвегии — низ. Верх и низ — так мы считаем, и так от веков старики считали. Везде начало и конец, и ему где-нибудь предел назначен. А ты, господин, меня не перебивай, а то не досказать мне всего. Землица-то все ближеет, все ближеет. Славно несет. Вот друга бы столько. — Старик спохватился: — Благодарствуйте, святые угодники, и так хорошо, славно несет!.. Морозы стояли лютые, у берегов намерзли льды гладкие, тонкие, ровные. О крещеньи подула морянка, и все разломало. У берега мелочь, т о р о с, стоячий лед, ледины да р о п а к и*. А между стоячим льдом и ходучим — водохожь. Самое время выбирать ледину да спущаться в море... Под самое крещенье приходят ко мне Андрей, да Степан, да Гаврила. «Михайло, — говорят мне, — веди нас в море!» — «Выбирай, — отвечаю я им, — постарше кого: от себя я еще не хаживал, людей за собой не водил». Слушать ничего не хотят: «Веди да веди». Поглядел на них: народ крепкий, дородный. Наш двинский народ весь рослый, а тут отобрались молодец к молодцу. Поглядел — и будто я выше стою, по макушкам гляжу через них. Теперь-то сила куда стала, а смолоду я ражий детинушка был.

— Силен был?

— Ничего, была силушка. Хвалиться не стану, а в людях свою работу не оставлял. Да и теперь, на старости, день пролежишь, два пролежишь, а глядишь — и поднялся, и пошел, гребешь да гребешь, как старый тюлень, — дальше, дальше... Ну, приходят ребята, просят: веди их да веди в море. Тут и я помекаю: чем я им не юровщик? Принял честь с радостью, согласился. К этим трем ребятам да еще хороших двух подобрали,

---

* „Ропаками“ поморы называют высокие пловучие льдины, „несяками“ — льдины, задерживающиеся на мелях (кошках)



да еще парня молодого за повара взяли, да Яшку — в том ошиблись. Говорят же: в семье не без урода. Восьмой я шел. Вот и вся наша ромша.

Тут старик на минуту перестал рассказывать, отвернулся к рулю и там долго завязывал какие-то веревочки.

— Так вышло, — продолжал он, — потому что у нас природно: отцы ходили, и вот мы ходим. Отец мой сорок зим юровщиком ходил, — вот и я. Потому что у нас природно, и терпеть не могу. Все знают, какой я был: справедливый, распорядка хорошая, не бранился, табаку не курил. Девять лет за себя ходил, а на десятом юровщиком выбрали: сам пошел своим передом и других за собой в море повел... Хорошо, страннички. Стали ребята гулять, пить отвальную, потому на море водки — ни-ни. От нее беда промыслу. Ребята гуляют, а женки в путь снаряжают: напекли хлеба да муки наготовили, да масла, да рыбы сушеной. Из одежи тоже — что чинят, что шьют. Чулки там, одевальница, буйно (брезент), рукавицы, бахилы. Много всего, всем домом идешь. Ребята гуляют, а я все заботу имею, все на море поглядываю да на лед, лодки смотрю, в порядке ли... Выпили последнюю отвальную, простились с женками и поплыли на лодке. Вон туда, вон бугрит...

Юровщик указал рукой на чуть видный вдали Жигжинский маяк.

— Там и спущаемся. Приехали к мысу. На нем избушка махонькая есть. Развели там огонек, греемся, в окошко глядим, когда льдина хорошая будет. Суток не прождали, гляжу — идет льдина верст в пять, белая, что поле. «Садись, ребята, в лодки, пришел, — говорю, — наш час...» Доплыли туда, вытащили лодки, все устроили, как надо быть. По высшему произволению, пал ветер с гор и взял нас. Закрыло родимую сторонушку, только мы и знали ее... Ну, старушки, терпите, это только присказка, а сказка будет впереди!.. Ветры задули горние, протяжные, ходко ледина пошла. В три дня все море от Летнего до Зимнего берега промахнули! Показалась Зимняя Золотица. Только глянули, и закрыло: море да небо, да лед ходучий. Тут вскорости начался у нас и промысел. К трем Святителям бельки родятся, детки звериные.

— И деточки есть у них? — спросила старушка, все еще не забывая про зверя, похожего на человека, показавшегося за лодкой.

— У каждого зверя дети есть, — отозвался черный странник.

— От детей-то нам и главная польза, — продолжал рассказчик, — на них не нужно и зарядов тратить, а матерый зверь от детей не уходит, хоть руками бери.

— Куда от деточек уйти! — пожалела старушка.

— Детей он, бабушка, любит.

— Детей каждый зверь любит, — опять отозвался черный странник.

— Так-то так, — ответил ему помор, — а только мы помекаем, что нет жалостливей тюленя. Человек и человек: и устройство свое, вроде как бы начальника, юровщика себе выбирают. Из пятнадцати штук один. Головой помахивает, слушает, а те лежат, тем что! Промахнешься в начальника, сейчас зашевелится, сейчас со льдины в воду, а те за ним — только бульканья считай. Начальника убьешь пулей, чтобы не копнулся, а тех хоть руками бери... Это от века так. Это не нами начато, так век идет... Главное — начальника убить. Он стережет, его забота. А тем что! Лежат на солнышке, л и к у ю т с я парами, что человек. А как родит, так — в воду. Обмоется, выстанет и лежит возле своего ребенка и уж никуда от него не уйдет.

— Куда же от деточек уйти! — сказала старушка, поглощенная рассказом.

— Да... Отползет немного, смотрят на тебя матка да батька, все тут лежат, так много, что грязь. Верст на сто ложатся — где погуще, где пореже, и все зверь, все зверь. Тут и реву у них немало, потому матка в воду уйдет, а он ревит. Ребенок — ребенок и есть. Матка на бок повернулась, а он сосет... Много зверя в тот год в нашем море было. Днем бьем, пока не смеркнется, а как темно — собираемся на льдину. Карбаса (лодки) вытащим и л е щ и м при огне. Повар мучницу греет. Вызябнешь так, что огонь не берет. Да и какой огонь на льдине! Дров немного, жалеешь больше хлеба. Только и согреешься, как в лодке под буйном уснешь. Если бы не Яшкино дело, скоро бы запросили морского ветра, чтобы домой попадать. А тут стали заме-

чать: зверь шевелится. Подходим раз — все в воду, и другой раз — тоже, и третий. Ладно, смекаю я, есть грех у нас в ромше. Посчитал провизию: калачей недохватывает. Вечером съехались на льдину. Я товарищам: «Ребята, у нас в ромше неладно: зверь зашевелился. Есть грех!» А они в один голос: «Есть грех!» Яшка молчит. «Ты, говорю, Яков, что же молчишь? Ай еще калачей захотел?» Начали мы его жать. Дальше — больше, дальше — больше, он и повинился. Взяли мы тут его, разложили на льду и постегали лямками. Так нас отцы и деды учили... И повалил же промысел, батюшки-светы!.. Пришли Евдокии. Земля показалась, деревня Кеды. «Ребята, — говорю я, — промысел был у нас хороший, давайте тянуться к берегу, потому хоть время промысловое, а приведется ли в другой раз так ладно к берегу подъехать». Смотрю: носы повернули, недовольны. Молодые ребята, задорные. «Хотим, — толкуют, — дальше промышлять». Мы со стариком с Гаврилом свое держим, они — свое. А больше всех Яшка кричит, ругается, ребят сбивает: «Самый промысел, зверь загребный плывет, а ты ведешь нас на берег!» Я свое держу строго, усовещиваю: «Вы мне обещали из-под моей воли не выходить, а как Яшка баламутит, так и еще его постегать можно». Опять все на меня: «Не затем мы тебя юровщиком выбирали, чтобы ты нас на печку к бабам вел. Коли ты юровщик, так веди в море, а не на печь». Дальше — больше, дальше — больше, и дошло до худых слов. «Ну, ладно, — я им: — коли вы свое обещание нарушаете, так выбирайте себе другого юровщика — Яшку, пусть он ведет вас». Ребята маленько поутихли. Мысленное ли дело Яшку юровщиком выбирать! И так у нас дело остановилось: ни то, ни се.

— А приказать? — вырвалось у меня.

Старик усмехнулся.

— Приказать! Да приказать-то, милый мой, не у чего: кругом страсть, пропасть. И то знай, мой милый, что на море ходи по ветру, а на людях живи по людям... Так-то вот! Сидим на льду, спорим. А уж темница заводит. Ребята спать ложатся. Им что, — как за отцом идут, что малые дети. А мне не до сна. Сижу на глинке, где огонь разводим, туда и сюда умом раскидываю. Тепло на глинке, угрелся, задремал. Вижу, будто приходит ко мне брат

Андрей, покойник, стоит против меня на льду и говорит первый раз: «Брат Михайло, ты пропал!» И другой раз говорит: «Брат Михайло, ты пропал!» И хочет уж третий раз проговорить, а я проснулся. Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, ветер гудит. Слышу, не тот ветер, не морской, а будто горный. Зажег спичку, глянул на компас и обмер: ветер прямо с гор, прямо в океан несет — на страсть, на пропасть. Сперва поначалу и молишь этого ветра, чтобы взял в море, а уж как к океану подойдешь, молишь морского, этого боишься, да уж тут не наше дело, не мы управляем. Лучше шерстиночки не упромышлять, только остаться бы в своем море. А у Кедов раздел: одна вода к берегу, другая — прочь. Вода тут яро бежит, скорее птицы летучей. Попали мы в яроводье: вода да ветер льдину несут, только шапку на голове держи. «Вставайте, — кричу, — братья! К северным кошкам (мелям) несет, к Моржовцу, не наткнуться бы на н е с я к и!» Встали ребята, поглядели, а кругом-то страсть: пурга, падара, лед трещит, ветер гудит, только скрипаток стоит, в лицо куски летят, стегает, как кусками сахара. Старик Гаврила, как пробудился да поглядел кругом, перекрестился: «Непомилование! Прогневали, братья, что юровщика не слушались, из-под его воли вышли, нарушили свое крестное целование». Молятся, каются. Рады бы теперь по-моему, да уж не наше дело. «Тяните, — говорю им, — лодки к кромке, может, на Моржовец высадимся». Стало светать. Смотрю на небо и на воду, что дает: воду или лед. Мы по небу замечаем: над водой темень держит, а над льдом бель. Вижу — белеет, на льды несет. Гуще и гуще лед, теснее, теснее. Затерло льдами, что ни входа, ни выхода. И видим землю, а поди, достань! Раз обнесло вокруг острова, раз п о в е н ч а л о, и другой раз повенчало, и заводится в третий раз. «Нельзя ли, — говорю, — ребята, вырубиться из сморози? Как уже плохо наше дело, так уж...» Только взяли топоры в руки, нас тут и прочь понесло от Моржовца, в поводь попали, опять нас тут захватило. Ревим, тужим, печалуемся... Одну землю закрыло, другую показало. И опять закрыло. Орлов пронесло мимо. Сердечушко туже да туже. Ребята на Яшку: «Ты нас сбивал!» Бранятся, ругаются. Я останавливаю: «Не ругаться!» Стихли. Молчат, как мертвые звери. «Ничего, — го-

ворю, — надейтесь. Кеды не беды, Моржовец не пронос, вот что скажет Канин нос». Им-то хорошо, хоть и вовсе ложись, спи под лодкой. А мне нельзя духом опадать. Я опану, они пуще опанут. Вся печаль моя, они по мне живут... Глядим тут, льдинку маленькую, ропачок, на нас несет, и будто звери на ней шевелятся. Нам тут не до промысла, а только дивуемся, что зверь на такой ропачок вылез. Ближе, ближе, а ин не зверь, а люди. Трое. Без лодок, без всего плывут. Видим: лопаришки бедные сидят на льду, кричат нам, что есть мочи. Понимаем, что оторвало от берега людей, унесло. Лодку им спустили. А они уж без ума кричат: «Уплавь нас за кормой, как лысунов (тюленей)!» Перевезли, приняли к себе. Кто бы ни был, всем одинаково, все богоданные товарищи. Обогрели, напоили, накормили. Они и повеселели тут и закурукали по-своему: куру, куру. Только с лопарями разделались, показался Канин нос: последняя наша надежда... Поднесло версты на три и опять в океан ладится увести. Мы тут было к лодкам, а вокруг носа лед, что каша, не пробиться. Скорей назад. А льдину все дальше и дальше в океан. И пропал Канин нос, только мы его и видели: улетел, как светлый сон. «Теперь, ребята, — говорю я, — надейтесь. Нужны мы на земле — найдется нам и в океане земля. Есть Новая Земля, есть Ненецкая земля, мало ли земель есть». Сам взял щепочку махоньку́ю, две ниточки прицепил, вроде как бы вески, и стал пищу отвешивать, уравнивать, чтобы одному — как другому. Дрова тоже, пересчитал все поленья. Потому, хоть и видимый конец нам, а духом опадать нельзя.

Старый юровщик помолчал немного, повернул лодку носом прямо к голому мысу Анзерского острова, ближайшего к нам из Соловецких островов. От поворота парус заполоскался и затем с шумом перекинулся на нашу сторону и закрыл от нас солнце. Легла холодная тень.

— Видишь, — сказал юровщик, — какое у нас море. Сейчас было жарко. Солнце парусом закрыло, — стало холодно. А в океане зимой-то как? Все дрожишь, весь день. Дрова какие были — сожгли, стали лодки жечь. Потом потеплело, стала вода на льдинах отстаиваться. Тут опять горе: пока снег таял, вода была хорошая, а как со льда, так и впросолонь. Пищу всю по-

ели, стали зверину есть. Душная порато. Другой не может есть: попробует, отвернется и опять в лодку ляжет, а другой так и бойко ест, ничего... Но и зверины больше не стало, порох весь расстреляли. Стали рукавицы есть, ремни от ружей, кожу, какая была... Голод сыздолил... С великого четверга полетели через океан птицы — видимо-невидимо. И к нам на льдину стали чайки садиться. Мы их петлями ловить. Наловили птицы и встретили праздник хорошо. Льды тают и тают, вот-вот очистится океан, — и нам конец: разломает льдину взводнем. Так что под Егорьев день я раздумался и говорю: «Готовьте, ребятушки, лодки, тянитесь к самой кромке!» Так и сделали. Ночью поднялась погодушка. Погодушка, страннички, пала. Свистит, гудит, воет! Сидим у кромки, ждем пропасти... Вдруг треснуло, как из пушки ударило. «В лодки, ребята!» Пали мы в лодки, — и все смерлось...

Старик опять помолчал; кто-то всхлипнул в лодке, и он, будто вернувшись откуда-то к нам, сказал едва слышно:

— Да, дитя, вот какая погодушка пала! — И продолжал:

— Только мы льдину и видели: на мелкие кусочки разбило. Тьма, пурга. Взводень выше леса, а мы в лодках. Бились ребята, бились, обмерли, весла побросали: сила худа стала, лежат в лодке, что мертвые. Раскинулось море морями! Сижу, правлю, парус изладил, несет по взводням, как по горам. Смотрю на ребят, говорю строго: «Нехорошо, братья, так помирать. Наденьте чистые рубашки, помолитесь, проститесь. Так нельзя, братья». А они, что малые ребята, сейчас оделись, помолились и простились, все как надо было.

— Не чаял, что вынесет? — перебил рассказчика пахарь.

— Не надеялся? — вырвалось и у меня.

— Нет, как — не надеялся! Все маленько подумывал, в каком ветре земля, как и что. Мне же и нельзя: я — юровщик. Я брошу, что будет? Все юро рассыплется. Им что! За мной, как за отцом, идут, что малые дети. А мне нельзя. И рад бы, да нельзя: людей веду, вся печаль — моя. Нет, господин, я все надеялся... Сижу на корме, правлю и парус держу. Не знаю, в каком ветре земля: в лето или в полуночник. Страх долит. Стонет мачта, плачет бедная. Птичка махонькая, цибелюшка, откуда-то села на мачту и все: «Циби-циби».

— В ненастье птица всегда ближе к человеку, — заметил пахарь.

— В погоду, — подхватил моряк. — И опять на море. Никто ее там не обижает, она и не лукавится. Не у чего ей лукавиться-то. Села на мачту и вот горюет, вот убивается: «Циби-циби». Вздремнул маленько, руль не выпускаю, а так будто померк. Вижу, стоит передо мной вроде как бы старец в светлом виде. Говорит мне: «Михайло, ты меня забыл!» Опамятовался. Ничего нету. Мачта передо мной стонет, да птичка: «Циби-циби». Думаю: какой мне-ко разум пришел? Явственно так слышал: «Забыл». Что забыл? А вскорости и спохватился. Помолился я тут и дал обещание, навеки нерушимое, чтобы возить странников всю жизнь на Святые острова.

В этом месте рассказа от долгой качки со мной сделалось легкое головокружение. Сначала длинный голый мыс Анзерского острова мне представился Каниным носом, а кучка богомольцев со стариком — теми пятнадцатью зверями, у которых тоже есть свой начальник. Потом я слышал, как странники все подхватили: «Обещание, обещание, обещание!» Головокружение продолжалось, вероятно, не больше минуты. Я услыхал обрывок речи:

— ...а то в одной рубашке пустит...

— Кто? — спрашиваю я, совсем очнувшись.

Все смотрят на меня почему-то удивленно, а юровщик особенно внимательно, и говорит:

— Тебя море бьет. Укачало. Садись сюда на солому, тут лучше... Ничего. Сейчас на землю выйдешь, все пройдет.

Старый юровщик продолжал свой рассказ, но я уже не мог его слушать так внимательно, как раньше.

Он рассказывал о том, как он еще потом обещал лучшую зверину Николе-угоднику; как потом, после обещания, стали понемногу опадать волны, рассеялся туман, и показался Канин нос. Высадились в Тиманской тундре едва живые; но тут на берегу нашли мертвого тюленя, съели и пошли по тундре искать ненцев. Бродили что-то очень долго, питались мхом и костьми, какие попадались по дороге. Недели через две нашли ненецкий чум. Тут их приняли с большой радостью, накормили олениной, попоили даже чаем. «Ну, и житье же ваше!» — сказали ненцы

морякам. «Ну, и ваше житье тоже!» — ответили они этим кочующим в тундре полудикарям. «Мы т о м а», — обиделись ненцы.

Юровщик долго и с удивительною теплотой рассказывал странникам про ненцев, называл их благодетелями, первыми в свете доброжелателями.

Отдохнувши у ненцев, моряки добыли себе лодку и по реке Чеше пустились домой. Женки их встретили, как воскресших. И ели же дома!

После этого случая юровщик две зимы не водил в море людей, но потом опять взялся за свой рискованный промысел.

— Да как же так: неужели же жизнь не дорога, чтобы после такого случая опять плавать на льдине? — спросил я.

— Жизнь дорога... — смутился старик.

Потом что-то долго думал, будто искал объяснения, и наконец сказал:

— Да попримениcь ты на птиц!

И рассказал о перелете гусей на Колгуев и на Новую Землю и о том, что один гусак летит всегда впереди.

Он начал было рассказывать и второй страшный случай на море, но тут мы подъехали к Покровской часовне на Анзерском острове. Все стали молиться и радоваться тому, как хорошо пахнет земля после моря, и как на Святых островах разными голосами поют птицы.

СОЛОВКИ

(Письма к другу)

11 июня

Перед моим окном море, дымится пароход, раскачиваются несколько превосходных шкун. Налево я вижу старинные стены крепости, внизу снуют богомольцы, будто толпа людей на большой улице. Сейчас большая монастырская чайка села на подоконник, поглядела на меня и задумалась над всею этой жизнью внизу.

Это маленький оживленный городок, и отсюда монастырь должен поразить всякого своим устройством, здесь, почти у полярного круга. Но я приехал сюда не с парадного крыльца, а пришел с черного хода, из отдаленного Голгофского скита. Напомню вам архипелаг Соловецких островов. Самый большой остров из группы — Соловецкий (окружность более ста верст), на этом острове и расположен самый монастырь; к юго-востоку — два острова Муксалмы, где помещается монастырский скот; на юго-запад — два небольшие острова Заяцкие; и, наконец, к северо-востоку — большой остров Анзерский.

Вот на этот-то последний, отдаленный от монастыря (пятнадцать верст) остров я и прибыл с богомольцами. Странники поехали дальше к Соловецкому острову, а я остался один, предпочитая переночевать тут, в Голгофском скиту, и попросить монахов доставить меня в Соловецкий монастырь.

Странники уехали, а я один стал подниматься на Голгофу, довольно высокую гору, на вершине которой и находится скит.

Скажу вам: мне было как-то не по себе. Эти странные белые ночи на Белом море, общение с богомольцами, рассказы моряков об их жизни во льдах, где единственной поддержкой им служит судьба, настроили меня, против желания, серьезно.

Я размышлял об их примитивной стихийной душе.

Когда мы ехали по морю, старый кормчий рассказывал о промысле на тюленей на льдинах. Он повествовал мне всю дорогу, как их промысловые артели уносит в океан на льдине, и как они прощаются там со всем земным и живут одной только верой в провидение. Одним словом, я настроен был серьезно, и меня очень смущала встреча с реальным выражением этой веры. Как вам это выразить? Ну, вот, я никогда не говорил с монахами; я знаю: у них какие-то свои обычаи, устав, хитрость...

Помните, мы с вами ездили в Черменецкий монастырь? Мы походили в саду по дорожкам, побывали в церкви, что-то разговаривали с монахом. И все. Мы удовлетворили свое любопытство, и монахам не было до нас никакого дела, будь хоть мы с вами их злейшие враги. Но тут — совсем другое дело. Никто не ходит в монастырь от заднего крыльца. Зачем я пришел к ним, кто я такой? Я не богомолец, туристы сюда не ездят, ученые — тоже. Кто я такой? Зачем я сюда забрался? Мне кажется, я кого-то обманываю, хочу отвечать неприготовленный урок.

И вот так я вступаю в длинный, довольно темный коридор, соединяющий кельи Голгофского скита.

Я буду писать вам подробно, фотографически верно.

Меня окружают люди в черной одежде, в клобуках, оглядывают меня подозрительно, с головы до ног. Я тоже оглядываю себя и ужасаюсь. Несколько недель, проведенных в глухих местах, сказались на одежде: высокие сапоги совершенно грязные, куртка в смоле от лодки, изорвана, в котомке (вещи свои я отправил на Соловецкий остров) гремят пустые патроны. Но вместе с тем покрой одежды, мои приемы... Я не богомолец, не помор... Кто же я? Меня спрашивают об этом. Какой стыд! Я говорю: по усердию... Конечно, никто не верит. Тогда я отыскиваю глазами настоятеля и, предполагая его в седом старике, одетом в красивую складчатую мантию, подхожу к нему и в ужасе вспоминаю, что нужно как-то особенно просить благословения, но как, я совершенно забыл.

— Вы отец настоятель? — спрашиваю я, очень смущенный.

— У нас нет настоятеля, есть строитель, здесь скит, — отвечают мне.

Между тем монахов прибывает все более и более, каждый новый оглядывает меня с ног до головы, каждый спрашивает: откуда, как? Всем я отвечаю: с Летнего берега, по усердию, — и все изумляются и не верят, потому что только самые бедные, самые несчастные богомольцы решаются переплыть на лодке восемьдесят верст открытым морем. Наконец один из монахов, без бороды и усов, с какой-то особой монастырской улыбочкой приглашает меня итти за ним. Мы поднимаемся во второй этаж и входим в просторную келью, разделенную надвое перегородкой: очевидно, спальня и приемная. В спальне я вижу образа, перед ними развернутую священную книгу, у другой стены — совсем узенькую кровать. В приемной несколько стульев, широкая софа с прекрасными шелковыми подушками. Догадываюсь, что я у строителя. Монах усаживает меня на софу, улыбается и говорит ласково:

— Моя келья прохладная, не так, чтобы как-нибудь.

Я отвечаю строителю такой же улыбкой.

— Как ваше имечко-то святое? — спрашивает он меня.

Я называю. Он улыбается, я тоже улыбаюсь, рассматриваю его и замечаю, что он через свою улыбочку наблюдает меня хитрым и дельным глазком. Как бы избавиться от этой недостойной перестрелки? Мне приходит в голову объяснить ему просто, что я от Географического общества, забрел сюда случайно, по дороге в Лапландию. Тогда, — думаю я, — мне можно не притворяться и не очень усердно посещать службу.

— Вы как же сюда пожаловали, по усердию ли... или?..

— Я, батюшка, от Географического общества, занимаюсь изучением жизни поморов, и вот заехал сюда... И по усердию... конечно, конечно, по усердию...

— От Географи-и-ческого? — улыбается он. — Но ведь у нас, на Соловецких островах, никакой же географии нету.

Этого ответа я никак не ожидал. Я принимал строителя скита за образованного человека, но вот после отрицания географии... что же мне делать? Я вдруг принялся объяснять монаху, что у них удивительная география, что нигде в мире нет такой географии; я называю географией и попавшуюся мне на пути осушительную канаву, и хорошее обращение монахов с живот-

ными, и мужество монахов при бомбардировке монастыря англичанами в 1854 году, и признанную всеми скромность жизни основателей. Я увлекаюсь, говорю восторженно и под конец речи хочу учесть эффект.

Та же улыбочка, тот же недоверчивый дельный глаз изучает меня.

Чтобы окончательно его убедить, я вынимаю из кармана бумагу с печатью Географического общества и передаю ему.

Улыбочка сходит с лица, он читает и говорит с уважением:

— А все-таки от ам... ам... амператорского общества. Хоро-о-шее дело, хоро-о-шее... У нас бывают гостеньки хорошие, сла-авные... Вот было раз, я тогда в просфирне служил. Вышел прогуляться на кладбище, погодка хорошая, хожу себе между могилками. Вижу, господин стоит у плиты, смотрит на нее, а она бе-е-лая: чайки задрызгали. Я побежал, принес метлу, воду, обмыл, метлой стер, подрясником протер. Он и читает. А я подхожу к нему: «Как, — говорю, — ваше имечко-то?» — «Алексеем, — говорит, — меня зовут, управляющий дворцом государыни Марии Феодоровны». Так вот! Вот какие гостеньки хорошие бывают.

Я вижу, что теперь уже мое положение меняется чрезвычайно в другую сторону, хочу как-нибудь поправиться, но монах слышать ничего не хочет, угощает меня чаем, сухарями. Он выспрашивает меня подробно: есть ли у меня жена, дети, часто ли я хожу в церковь, все мелочи, все подробности домашней жизни. Зачем это?

Разговор наш становится слаще и слаще и вместе с тем, странное дело, неискреннее, — почему, не знаю.

Я чувствую его выхитривающую улыбочку и, что самое отвратительное, совершенно такую же и у себя на лице. Я возмущаюсь, сержусь на себя, но улыбаюсь.

— Место наше святое, — занимает меня монах, — чудеса бывают постоянно.

— Чудеса?! — притворно изумляюсь я.

— Место прославленное, как не бывать чудесам! Вот, как англичане-то напали на монастырь, — один старичок-свидетель еще жив, расскажет, — вот-то были чудеса! Стреляют иноземцы,

весь монастырь ядрами завален, а не горит. Дивуются англичане: дым валит, а огня нет. Глянули наверх, а там-то чайки, как туча: и поливают сверху, и поливают. Ну, конечно, сырость, шипит, дым валит, а не загорается. Да что это, вот и у меня на глазах были чудеса...

— Что вы! — изумляюсь я, опять очень неискренно, потому что едва собрал силы преодолеть улыбку от наивного рассказа о чайках.

— Пришел ко мне Федор, мужичок, жалуется, что у него на боку дырка, и из дырки дурь бежит. Поглядел я: дырка в медный пятак, дурь бежит, и он щепалочкой ее выковыривает. «Федор, — говорю я, — оставайся преподобным отработать на два месяца». — «Хорошо», — говорит, и остался. Через неделю спрашиваю: «Федор, бежит дурь?» — «Нет, — отвечает, — остановилась». Еще через неделю поднял я рубашку: и не то, что дурь, а и дырки не видно, затянулась.

Так за чайком строитель поведал мне множество «чудес» в этом роде и, наконец, спросил меня:

— А как в городах?

— Да ничего, — отвечаю я, — живут себе и живут.

— А слышно, будто проваливаться начинают...

— Что-о?

— Да города проваливаются. Вот на Кавказе один провалился.

Я возмущаюсь, я защищаю города искренно, честно, рассказываю о землетрясениях, о вулканах. Нет, — говорю я, — нет, города не проваливаются, а это так.

И вот я замечаю: строитель смотрит на меня просто, без улыбки, серьезными, умными глазами. На месте улыбки остались только какие-то кривые извилистые линии. Он смотрит на меня пристально и спрашивает: знаю ли я Охту, знаю ли я Мариинскую улицу в Петербурге, бываю ли я там? Я говорю, что знаю, подробно рассказываю об Охте. Он изумляется: так все застроилось.

— А вы разве там бывали? — интересуюсь я.

— Бывал, бывал, — просто и грустно отвечает он. — Давно, лет двадцать прошло, был там ломовым извозчиком.

Стена фальши, искусственности рушится между нами, в минуту становится так хорошо с этим бывшим извозчиком, и мне кажется, что потому это так, что мир тот за стенами монастыря прекрасен, что этим любимым миром пахнуло на нас, как на северном море — ароматом земли.

— Ну, как же живут в Петербурге? — спрашивает он меня просто.

Я ему горячо говорю о политических переменах за это время, о том, как живут теперь на Охте. Я увлекаюсь тем миром, который вдруг мне становится таким дорогим. Я увлекаюсь, не замечаю, как извилистые линии на щеках монаха снова складываются в улыбку.

— А уж половина восьмого, — говорит он, — сейчас будет трапеза.

— Как половина восьмого? Солнце садится, одиннадцать!

— У вас, — говорит он, — а у нас половина восьмого, а вот в Анзерском скиту восемь, в Соловецком — девять.

— Как это так?

Он объясняет мне, что время изменяется потому, что служба должна быть в определенное время, а монастырские работы так складываются, что служить нельзя, когда требуется. А потому и переводят часы.

— Это ничего, — сказал монах, — в сутках остаются те же двадцать четыре часа.

«Но математика, но астрономия!» — думаю я про себя и подхожу к окну.

Что за картина!

— У нас солнышко, — говорит монах, — почти что и не садится, все вот там огонек виднеется. И книгу можно всю ночь читать. Все солнышко в этот косячок печет, все печет.

Полуночный огонек глядит на нас с монахом, а мы стоим наверху высокой горы, и от нас вниз сбегают ели, сверкают озера и море, море...

Города проваливаются... Не признают времени... Быть может, это очень высоко... или низко... Свет это или тьма... Не свет это и не тьма, — вспоминаются мне слова одного мыслителя, случайно проснувшиеся во мне, — это гроб, и все эти озера,

зеленые ели, весь этот дивный пейзаж — не что иное, как серебряные ручки к черной мрачной гробнице.

Вдруг в тишине раздается удар колокола.

Это нас зовут на трапезу. Мы спускаемся, идем по темному коридору с каким-то особенным монастырским запахом...

До свиданья, мой друг, колокола зовут ко всенощной, неловко не итти. Пошлю это письмо и скоро примусь за продолжение.

В номере много чаек, столько же голубей и воробьев. Все они расклевывают мой пирог, сделанный из хвоста той семги, которую мне поднесли поморы как члену Государственной думы по фотографическому отделению. Выгнал, вычистил стол, съел остатки пирога и приступаю писать о трапезе в Голгофском скиту.

Вы знаете мой аппетит... Но если бы вы знали, как хочет есть человек, проехавший день по морю в лодке! Я готов есть сырое мясо. И это в монастыре, на Голгофе! Можно ли после этого думать о серьезном?

Первое, что я заметил в трапезной: жара. После я узнал, что монахи любят жару и нагревают свои кельи точно так же. Рой монахов дожидался нас у длинного стола, уставленного двумя рядами металлических тарелок. Мы уселись друг против друга. Я сидел по левую сторону строителя, у края стола, а по правую, против меня, сидел инок с красным носом с синими прожилками. Помните, в нашей церкви был пьяница-дьякон? И вот как раз такой, лицо в лицо. Других монахов я как-то стеснялся разглядывать, а сидел смирно, созерцая кусочек селедки на моей тарелке. Диакон тоже созерцал свою селедку. Я взглянул на него, он — на меня. «Выпить!» — прочли мы в глазах друг друга. Но тут раздался звонок — «динь», послушник в сером стал читать что-то священное из книги, строитель благословил сельдь, и мы принялись есть. Это, конечно, продолжалось одно мгновение, чтец, кажется, успел произнести одно слово: «седохом». Потом опять — «динь»... чтение... какая-то жидкая пища...

— Как называется? — тихонько спросил я диакона.

— Ш т и - р ы б а, — шепнул он мне.

Не могло быть и речи о том, чтобы наливать суп в тарелочку, — она и мала, и там остатки селедки. Строитель благо-

словил суп, мы опустили ложки, и я увидел, как шти-рыба стекает с усов диакона на тарелочку.

После щей с окуневыми головками строитель положил ложку и громко дохнул из себя, за ним дохнул диакон и все монахи.

«Как это неприлично!» — подумал я, но тут же и сам дохнул и понял, что это свойство шти-рыбы.

«Динь» — звякнуло опять, и на столе появилась совершенно такая же пища. Я вопросительно взглянул на диакона.

— Шти-лапша, — шепнул он мне.

Я попробовал: совсем такая, как и шти-рыба, но только без окуневых головок.

Монотонное чтение в тишине, полнейшая невозможность поговорить и насытиться постной пищей сильно угнетали меня. Как вдруг маленький инцидент доставил мне развлечение.

Возле строителя откуда-то появилось небольшое черное быстро бегущее насекомое. Монах протянул палец, чтобы придавить его, но зацепил широким рукавом шти-лапшу и опрокинул ее на колени диакону. Рассерженный диакон быстро ткнул пальцем насекомое, но промахнулся, и оно помчалось дальше между двумя рядами монахов. Оно неслось, как заяц между двумя рядами стрелков, и погибло только на самом конце стола. Это маленькое насекомое нас взволновало и так оживило, что и послушник стал не так монотонно читать свое «седохом».

Я описал вам этот маленький эпизод, мой друг, вовсе не для того, чтобы указать на падение нравов в монастырях сравнительно с временами св. Корнилия, который предоставлял свою обнаженную спину комарам. Нет, это насекомое просто дало мне лишь возможность оглядеться.

Прежде всего я заметил, что по братии разлита улыбочка строителя: у послушника в сером ее еще нет, у послушника в черном есть немного, у одного — больше, у другого — меньше, но почти у всех. Ах, да, у диакона ее нет совершенно; нет у одного монашка с рыженькими усами, беззубый рот которого мне показался полной коллекцией маленьких и необходимейших пороков. Такую же улыбочку я заметил и на иконах. Вероятно, живописцы так изображают лучистость внутреннего *я* святого, а монахи подражают иконам. И чем благообразнее монах, тем

и улыбочка больше, чем грешнее, тем меньше. Такова моя теория, — не знаю, верна ли?

После каши мы долго молились, и строитель указал мне келью с двумя койками, натопленную до 40°. Я поблагодарил и уже хотел ложиться, как вдруг вошел диакон. Он оказался хозяином кельи. Я попросил у него позволения отворить окно, он с удовольствием разрешил и сам снял с себя подрясник, остался в рубашке, как всякий смертный.

— Нет ли у тебя покурить? — просит он.

— А разве можно?

— Отчего же нельзя... Может, и выпить есть?

В моей котомке есть все. Мы усаживаемся к окну и курим. Диакон рассказывает свою биографию: был буфетчиком на Охте.

— То же, как и строитель?

— Нет, тот был извозчиком, а я — буфетчиком.

— А вот этот, с рыженькими усиками, с таким ртом?

— Тот из Киева, у того была своя лавка. А вот настоятель монастыря был рыбаком в Поморьи.

Потом диакон рассказывает мне одну биографию за другой, рассказывает, к моему удивлению, что монахи здесь получают довольно большое жалованье, а настоятель, кроме квартиры и стола, — пять тысяч рублей в год. Диакон посвящает меня во все интриги, во все мелочи... И вдруг мне становится ясно, где я... Я в маленьком, глухом русском городе, населенном богатыми и бедными мужичками. И монахи — это те же крестьяне. Это своеобразно устроившиеся русские мужики. Теперь меня больше ничто не смутит; я знаю, как вести себя. Я делюсь своими мыслями с диаконом.

— У вас, — говорю я, — как у нас, в маленьком уездном городишке...

— В миру, — отвечает он мне, — куда лучше! Люди там проще, лучше. В миру, что случится, горе там или что, — выпил, закусил, и кончено. А тут, в монастыре, искорка, а как разгорится, чуть что, — все известно. Он на тебя... хоть бы этот рыжий-то, беззубый, смотрит-смотрит, копит-копит, и донесет, — и попал, и некуда деться. Вот ватничек, грош цена. А семь лет просил — не дают. Сам сделал, плюнул на всех.

Так мы долго болтали с диаконом, и я утром пришел к концу службы. После обедни служили молебен для меня, и строитель предложил вечное поминовение моих родственников в скиту.

Я смутился.

— Можно и на пять лет, — быстро понял он меня.

— М-м...

— На три... На два... На год.

— И на год можно?

— Можно.

Чувствую, дорогой друг, что я болтаю, но я не вижу для себя другого пути. Можно бы проникнуться вечностью безгрешных ночей и излагать вам на их фоне премудрость моего карманного путеводителя. Но для чего это? Нет, я знаю, вы искренний, живой человек, и горсточка ладана, ложечка постного масла, кусочек сухой трески вам иногда могут больше сказать, чем разные такие истории...

После обедни строитель и диакон сказали мне, что и они идут на Соловецкий остров. Мы отправились вместе. Дорога возле озера превосходная, яркие северные листья деревьев сгорают на солнце изумрудным пламенем.

Я иду рядом с диаконом, строитель — немного впереди, оба говорят мне «ты»; я отвечаю тем же и вообще сегодня совсем иначе истолковываю улыбочку одного и красный нос другого.

— Вон Ольгоф, все еще видно, далеко видно, — обертывается к нам строитель и указывает рукой на высокую Голгофу.

— Хорошо! Ой-ой-ой... Хорошо! Елочки, березочки, озерки... Откуда все это? Хорошо!

Несколько странников и странниц попадается нам навстречу: старичок, девушка в черном платке и с красными глазами, полная распаренная женщина, группа серых костромских или вятских мужиков в лаптях.

— Вы к нам? — останавливает их строитель. — Идите, идите... Вон Ольгоф... видно...

Они проходят, но диакон еще долго смотрит на распаренную женщину.

— Что, диакон... как?.. — улыбнулся я красному носу.

— Да вот смотрю: кто жирный, так тяжело.

Ах, диакон, диакон, вот что заметил, а серых мужичков и не видел!

Нет, он и их видел, и отвечает:

— Ты не смотри, что они серы и в лаптях, — у них карманы полны, с пустыми карманами не приходят.

Замечание диакона на минуту собирает мое рассеянное по этим озерам и лесам существо в мысль. Я думаю о том, как, в сущности, неспособно наше духовенство к фантазии и увлечению живой мечтой, как оно низменно, практично, расчетливо... Но вдруг из леса выбежала лисица, села на опушке, проводила нас глазами и не убежала... Меня, как охотника, это поразило необычайно.

А диакон стал мне рассказывать, что птица и зверь у них вовсе не т р а щ е н ы, лисица даже к нему в келью повадилась. Через окно лазит и сахар ворует.

— А куропатки, — те вовсе как куры. Вчера иду по тропинке, вижу: возле березки куропать сидит. Я за ней, она от меня. Бегаем-бегаем вокруг березки. Уморился. Взял камешек, прогнал ее, надоело.

По пути до Анзерского скита раз перебежал нам дорогу олень, раз мы видели совсем близко глухаря. Возле Анзерского скита, второго скита на Анзерском острове, ограда с изображением чайки на воротах. Благодаря этой ограде лисицы не могут проникать внутрь и губить гнезда чаек. Я вошел в эту ограду с большим любопытством. Я много слышал об этих исторических чайках, всегда любовался на море этими изящными аристократками. Какие они здесь?

Я увидел просторный двор, буквально наполненный большими, почти с гуся величиной, белыми птицами. Все они сидят возле еще темных птенцов на своем маленьком квадратике земли. Малейшая попытка соседней птицы переступить за пределы своей маленькой территории вызывает в соседней державе отчаянный крик и очень часто продолжительную и упорную борьбу. В общем забавно, но и немного грустно. Точь-в-точь такая же жизнь, о которой ночью рассказывал диакон. А как же красивы они там, на море!

Я направляю свой фотографический аппарат на чаек и хочу снять их. Но меня останавливает строитель:

— Нельзя, неловко, надо попросить разрешения у строителя Анзерского скита... Да вот он и сам. Вон идет. Ступай, спроси и снимай.

Я иду навстречу строителю по узкой дорожке между двумя рядами чаек, готовых при малейшей моей неосторожности выклевать мои глаза, и припоминаю, как учил меня диакон просить благословения: нужно сложить ладони лодочкой на груди и потом, смиренно склонив голову, сказать: «Ваше высокопреподобие, благословите», и поцеловать руку. Пока я так повторяю ночные уроки диакона, монах приближается. Снимаю шляпу и вдруг вижу, что обе мои руки заняты: в одной — фотографический аппарат, в другой — шляпа. Как же быть? Забыв про чаек, я ставлю аппарат со шляпой где-то возле себя на траву, складываю руки, как учили, шепчу: «Разрешите...» Но в этот самый момент чайки бросаются на мой аппарат, готовые пронзить острыми клювами его мехи. Я отнимаю аппарат, но злые птицы бросаются на меня, клюют мне руки, щиплют ноги. И вот что значит маловерие: я, не испросив благословения, пускаюсь во весь дух назад за решетку.

Там диакон умирает со смеху.

— Я учил, — говорит он мне, — просить разрешение у настоятеля, а не у каждого иеромонаха.

И как же это больно, мне и до сих пор трудно писать...

После этого инцидента мы идем дальше к проливу и переезжаем на лодке благополучно к Соловецкому острову. Здесь меня ожидало маленькое разочарование. На берегу мы увидели несколько убитых тюленей. Сейчас только говорили о том, что в Соловецком монастыре не убивают животных, а вот здесь оказывается настоящая звероловля. Как же так?

Мне объясняют, что их убивают не здесь, а подальше, на взморьи. Там ставят сети на отливе, а когда вода прилива закроет сети, и звери выйдут на берег, то их пугают и загоняют к сетям. Там, на взморьи, и убивают, а здесь, — говорят мне, — нельзя. Потом рассказывают, что и оленей ловят тоже сетями.

Это первое маленькое разочарование. Второе состояло вот в чем. Когда мы пошли дальше по превосходной дороге лесом со множеством озер, мне пришло в голову зайти к какому-нибудь старцу-подвижнику, побеседовать с ним. Я сказал об этом строителю. Тот улыбнулся моей наивности. Так жили раньше, первые подвижники, но теперь даже схимники могут жить в каменных домах, совершенно так же, как и другие монахи. Это было второе маленькое разочарование, потому что подвижники в каменных домах для меня неинтересны. Ведь таких подвижников можно видеть везде, например, в нашей Александро-Невской лавре, и незачем ездить на Соловецкие острова. Я пробовал сделать себя понятным моим спутникам, но они меня не понимали. Они чтут память прежних подвижников, но сами живут иначе. После этого я не особенно как-то волнуюсь, когда вижу перебежавшую дорогу лисицу, тетерку на березе или дикую утку на озере. Мне почему-то кажется, что и тут что-то неладно. Хорошо-то хорошо... конечно, это птицы... но все-таки это не настоящие же птицы... нет, настоящие... но... вы понимаете... как бы вам сказать?.. Вы знаете, я охотник... и вот мне, охотнику, кажется, что у каждой этой птицы есть где-нибудь в лесу каменный домик или дачка, и что птицы здесь имеют какую-то обязанность показываться странникам по дороге и даже, может быть, получают небольшое жалованье за это. Но вы не охотник, вы не поймете этого чувства, когда ищешь птицу, чтобы убить ее, а мечтаешь о такой стране, где их не убивают, но и не кормят и не охраняют, а живут с ними попросту, вот как этот диакон, который, как я вам писал, бегал вокруг березки за куропаткой и, наконец, прогнал ее камнем. За этим разочарованием последовал ряд других, после того как мы достигли, наконец, Соловецкого монастыря. Теперь я вам буду писать о том, что окружает меня в настоящую минуту, и это гораздо труднее. Буду писать урывками, на клочках.

Если вы когда-нибудь поедете в Соловецкий монастырь, то усвойте раз навсегда правило: есть и жить, одеваться здесь так же, как и простые серые странники. При малейшем отступлении от этого правила — вы такой же погибший человек, как

и я. Вам это сделать легче, чем мне, потому что вы привезете запас неизрасходованных сил, — не так, как я, изморившийся скитаниями в лесах и на море.

Подходя к монастырю, строитель простился со мной и сказал, что лучшая гостиница здесь Преображенская, но в ней живут богомольцы различных классов: внизу — простые, наверху — почище, а в среднем этаже есть отдельные нумерки с диванчиками и зеркалами. Если бы я был одет почище, то мог бы получить отдельный нумерок, но... Строитель оглядел меня с ног до головы. Я поспешил ему сказать, что в моем чемодане, который, без сомнения, теперь уже доставлен, есть сюртучная пара.

— Тогда идите, — сказал строитель, — есть нумерки сла-а-вные...

Мы расстались. Я направился к большому белому зданию у моря, к Преображенской гостинице. Измученный дорогой, бессонной ночью, я представлял себе помещение с грязными богомольцами адом, а отдельный нумерок — величайшим счастьем: там можно отдохнуть, пописать, обдумать пережитое в дороге. Нет, во что бы то ни стало я добьюсь нумерка...

Иду прямо во второй этаж и там сажусь на какой-то диван в ожидании монаха, распределяющего богомольцев. Жду долго, внимание мое возрастает, совсем как на экзамене — в ожидании очереди. И, как назло, дверь, одной комнатки приотворяется, виден край бархатного дивана, и на нем лежит чудесная дамская шляпа с перьями. Налево от меня — балкон с видом на старинные стены монастыря и море. День солнечный, прекрасный, море синее. Можно подумать, что я не у полярного круга, а где-нибудь в Италии. Если я хорошенько приоденусь, то мое положение будет почти как на южном курорте. И вот эта шляпа с перьями... Мало ли что может случиться! И не в лесах только есть прекрасная страна. Что, если волшебный колобок повернет в другую, противоположную сторону?

После я узнал, что шляпа принадлежала губернаторше, что тут же был и губернатор. Но я этого не знал, я видел отдельный нумерок, край бархатного дивана и дамскую шляпу с перьями, я видел себя в черном сюртуке.

— Тебе что тут надо? — услыхал я строгий голос.

Передо мной стоял монах-гостинщик и смотрел на меня такими недружелюбными, подозрительными глазами.

— Что тебе надо?

— Нельзя ли мне нумерок? Я путешественник. Я турист. Мне бы нумерок.

Он осматривает прежде всего мою котомку.

Этот мешок из красной полосатой материи, которой обивают матрацы, — мое собственное изобретение. Я туда складываю все необходимое и тащу на спине, а когда нужно где-нибудь ночевать, вынимаю все, набиваю травой, мхом и великолепно сплю. Там у меня сложено все: и перемена белья, и кусок рыбника из семги, поднесенной мне поморами, и пять просфор из Голгофского скита, и бутылка коньяку, и пустые патроны, удочки, блесны...

Монах с отвращением смотрит на мой матрац и пинает его ногой. Патроны гремят.

— Что это там?

— Это так... У меня это так... У меня есть здесь чемодан.

Но он не слушает, а подробно и долго осматривает мою одежду. Она его приводит в смущение: грязная, изорванная, но покрой...

Вы знаете мой, купленный за границей Jagdrock. Это был он самый, но в каком виде, в смоле...

Монах смущен и даже трогает пальцами качество материала.

— Поди сюда! — кричит он мальчику-послушнику в сером. — Веди наверх, в общую!

Решив трудный вопрос, он уже, как ни в чем не бывало, приветливо и почтительно мне улыбается и ласковым голосом спрашивает:

— Как твое имечко-то?

Я ему тоже улыбаюсь, бросаю последний прощальный взгляд на отдельный нумерок с дамской шляпой, на балкон и море, напомнившее мне южный курорт, и иду за послушником.

Мои сожители — семь толстых рыбных купцов. У них семь жен, таких же толстых. Жены живут напротив, но вечно возле мужей и хлопочут с самоваром, с рыбниками...

Я не дописал фразы и забыл. Купцы потребовали, чтобы я убрал свою чернильницу, и предложили вместе с ними пить чай. Теперь они ушли молиться, и я продолжаю, но фразу забыл. Всего нас с женщинами за чайным столом пятнадцать человек. Мы выпили несколько самоваров, несколько раз вытирали пот с лица полотенцами. Все купцы на мой вопрос ответили, что они приехали по обещанию, но один проговорился, что и по обещанию, и семгу по дороге купить. Тогда все принялись над ним смеяться, начали уверять его, что обещание недействительно. Над несчастным шутили на всякие лады и, наконец, стали громко хохотать:

— Обещался на одно дело, а ин два... Ха-ха-ха!..

Долго смеялись и так со смехом и ушли.

Был в церкви. Масса богомольцев, все больше костромичи, вятичи. Измученные лица. В толпе я заметил семейство цыган: женщину, похожую на остаревшую Кармен, двух страшно черных цыган в синих куртках со шнурами и человек пять детей, мальчиков и девочек.

Как они попали сюда? Кочующий народ — и на Святых островах! Что-то странное... Неужели тоже по обещанию?

После службы мы все толпою двинулись по длинному коридору в трапезную. Возле одной двери монах довольно сильно толкнул меня в спину, и я попал в большой зал с длинными столами и стенной живописью. Другие богомольцы шли куда-то дальше, и из их толпы, я заметил, некоторые, почище, попали в этот зал. Я хотел было направиться к одному из столов, где я заметил группу хорошо одетых людей. Но энергичное давление пальца направило меня в другую, совершенно противоположную сторону. Я устроился рядом с купцами из моего номера и морским унтер-офицером. Хорошо я не мог понять, на сколько классов разделялась вся молящаяся толпа, но показалось что-то много...

Я очень долго беседовал с богомольцами возле Святого озера. Узнал, что цыганы эти из Каргополя, что они бросили свое кочевое житье и купили дом и теперь пришли сюда по обещанию. Было странно, что Кармен не предложила погадать, а цыганята не выклянчивали копеечки. Во время моей беседы с ними подо-

шел ко мне монашек и долго подозрительно выспрашивал, откуда я и кто. Он казался довольно образованным, «многограмотным», как здесь называют таких людей. Узнав мои занятия, он посоветовал мне немедленно представиться настоятелю, убедить его, иначе меня могут арестовать, так как теперь бывают здесь подозрительные люди.

Я надел сюртук и проделал всю церемонию. Настоятель, бывший рыбак-помор, оказался тоже членом Географического общества, быстро понял меня и разрешил фотографировать все, что я желаю. У него вид выхоленного архиерея. Возвращаясь к себе от настоятеля, я встретил опять монашка, подозревавшего во мне агитатора.

В своем парадном костюме, вероятно, я был неузнаваем.

— В каком вы номере? — спросил меня восхищенно монашек.

— Наверху. С купцами.

— Ах, он такой-сякой, ах, он такой-сякой! — заволновался монашек. — Этакого господина — и в третий этаж!

Через несколько минут я был в отдельном номере, недалеко от губернаторского семейства.

Ночью не спалось, вышел побродить. Обходя старинную, всю избитую ядрами стену монастыря, услыхал я сильный детский крик и невероятную брань. Я поспешил туда. И на берегу Святого озера увидел такую картину: Кармен, пригнув одной рукой девочку за головку к земле, бьет ее изо всей силы огромной, как мне хочется сказать, «пудовой» сломанной свечой, не бьет, а прямо молотит несчастную, как цепом, а сама ругается. Пока я успел подойти, истязание кончилось, и все семейство цыган пошло куда-то вдоль берега Святого озера.

Я спросил какую-то старушку, в чем дело. Оказалось, что девочка уронила купленную дорогую свечу и сломала и за это получила наказание.

Богомольцы сидят на берегу у озера. Вероятно, им душно в келье. И ночь такая светлая, совсем как день.

Сейчас я понял, почему земля Соловецких островов называется в народе святою.

Пришел пароход, битком набитый странниками. Еще далеко с моря доносился с него отвратительный запах. Когда я увидел,

сколько их набилось в пароходе, увидел эту грязь, это настоящее истязание людей... я ужаснулся. Но потом они вышли на берег. У них сияли лица. В это время они забыли все трудности пути, все горе.

«Земля обетованная!»

Эта простая народная вера меня волнует так же, как зелень лесов, так же, как природа в те моменты, когда увлечешься охотой и станешь одним из тех лесных существ, которые живут под каждым деревом.

Вот мой знакомый мужичок, добравшийся сюда с Урала. Он измучен дорогой. Это видно по его красным глазам, по впалым щекам. Но он сияет счастьем. Он сидит возле гнезда чайки, делится с матерью и детьми куском своего постного пирога и что-то бормочет, оживленно беседуя с птицами. Разве это не святой? Разве такой человек может кому-нибудь сделать зло, убить кого-нибудь?

Я подхожу к нему.

— Ну, как?

— Хо-ро-шо-о!

И все его измученное лицо светится.

Мне просто хочется украсть, отнять у него частицу его счастья.

— Что же хорошего-то?

— Устройство хо-ро-о-шее. Пища хоро-о-шая!

И все... больше ничего. Сам он, как я знаю, материально не пользуется этим устройством, но восторгается именно материальным. Так он, выросший в своем мелочном хозяйстве, может выразить свой идеальный мир.

Дорогой друг, я кончил свои письма. Пароход сейчас увезет меня с Соловецких островов, и через неделю я попаду в Лапландию, к кочующему народу.

1. Воскрешение мертвых

Дорогой друг, с тех пор как я писал вам из Соловков, прошло двадцать восемь лет, из которых шестнадцать советских, а из шестнадцати есть такие, что в сравнении с ленивыми цар-

скими годами их надо считать за десять, и в этих годах попадались минутки одновременно и скорые и долгие, как целая вечность: в Ельце я, принятый войсками Мамонтова за еврея, раз даже у стенки стоял, и все-таки «бог миловал», и я опять в Соловках.

Мы с Петей сошли в Кеми, рассчитывая на пассажирский автобус, но машина сломалась. Тогда приехал какой-то случайный человек на двуколке. Встретился он тут со своим кумом, им захотелось выпить, и в тот самый момент, когда кумовья гадали, где бы им достать на бутылку, мы подошли к ним и попросили довезти до гостиницы наши вещи. Не повезло нам тоже и с гостиницей в Кеми: до того было плохо во всех отношениях, что, мало-мальски устроив свои вещи, мы решили бродить светлой ночью по городу. Возле старого собора, знаменитого памятника древнерусского зодчества, я вспомнил ясно, как было тогда, почти тридцать лет тому назад, на этом месте: я вспомнил все по неустанному гулу порога и запаху моря.

Из старых построек выделялся каменный огромный, сравнительно с деревянными домишками, Услаг.

Светлой северной ночью люди спали неровно, — кто спал, кто бродил вроде нас, кто копался на берегу с сетями.

Утром, когда открываются учреждения, мы явились в Услаг за пропуском в Соловки и просили дежурного передать начальнику Услага записку из Москвы с простым содержанием, написанную второпях, кое-как, чернильным карандашом: начальник главного управления лагерями просил оказывать мне всякое содействие в отношении передвижения, питания, жилища, с особенной просьбой показать все интересующее нас.

Развивая план предварительного для понимания Беломорского канала путешествия, начальник вдруг попал на своего конька и отвлекся: там, в мурманских водах, в Иоканьге, сейчас заперли огромный косяк сельди, и происходит лов и засол в огромных размерах. Вот куда надо ехать, вот что надо смотреть! Сельдь в заливе так густо стоит, что по ней будто бы можно ходить. Вот это посмотреть бы! Никакие тросы не могут рыбу сдержать, все рвется, и тросов нехватает, чтобы возобновлять запоры. Теперь рыбу держат только морские звери: тюлени,

моржи, белуха, касатка, киты в огромном количестве собрались у залива в ожидании, когда сельдь выступит в море.

— Вот посмотреть бы, как звери держат рыбу! — сказал начальник.— Вот там непременно книжечку напишите.

И даже показал при помощи двух пальцев толщину предполагаемой книги моей о мурманской селедке.

— Практично, очень практично,— согласился я с «американцем»-начальником.

А у Пети, в чаянии увидеть китов, стерегущих селедку, загорелись глаза и щеки.

Мы забыли тогда, что целью всего путешествия было понимание строительства и назначения Беломорского канала. После сельди начальник бросился рассказывать о разных своих бесчисленных начинаниях и, когда дошел до оркестра бывших воров, схватил шапку и пригласил нас за ним следовать:

— Этого вы нигде не увидите!

Дело было в том, что начальник, очевидно, сам музыкально одаренный, выбрал из соловецких урок музыкальных мальчиков и организовал оркестр: это начинание было в духе перековки человека, когда бывший вор, получая все необходимое за свой труд и занимаясь интересующим его делом, лишается мотивов для своего антисоциального промысла. Мальчики, бывшие воры, в новеньких костюмах, устроились на лавочках между клумбами; их дирижер, старый музыкант с лицом фавна, такой худой, что рыбьи ребра его обозначались даже из-под рубашки, взмахнул смычком и оглянулся вопросительно в нашу сторону. Ехала бочка с водой и остановилась. В окружающих домах везде окна открылись. Столпился народ, и все ожидали слова начальника. Народ, повидимому, слышал это уже не впервые. После «Интернационала» превосходно сыграли «Барыню» и многие, тоже отличные вещи. Это приятное мы соединили с полезным осмотром лагерных мастерских, видели многие тысячи всяких людей в конвейерной работе над одеждой и обувью для всех лагерей СССР.

Наш осмотр этих работ остановила внезапная болезнь Пети.

На людей непривычных роскошная и единственная в своем роде соловецкая селедка действует, видите ли, как яд, и довольно опасный. Так, не прошло двух-трех часов после нашего завтрака,

Петя мой свалился и в ужасных мучениях начал умирать. Ни малейшего смущения не было на лице нашего начальника при виде умирающего гостя. С чисто американской деловитостью взял он трубку телефона, вызвал старшего врача и тут же по телефону, узнав, во сколько часов пароход отходит в Соловки, велел врачу, указывая на полумертвого Петю:

— Поставить на ноги!

— Есть! — отозвался врач.

Ровно в восемь явился от начальника временный комендант и сообщил, что Петя уже на ногах.

2. „Ударник и Клара“

Редко мы, как надо, оцениваем труд тех, кто культурные ценности приспособляет для мало подготовленных к этой кухне желудков. Таких поваров в лагерях называют начальниками культурно-воспитательной части, или попросту КВЧ. Имея самые лучшие намерения для скорейшей моей ориентировки в местных достижениях, большие начальники, естественно, давали мне в спутники этих КВЧ. И так вот, с этим товарищем ежедневно ешь и пьешь, и ночью спишь в одном купе, в одной каюте, лазишь по горам, по шахтам, и он же приводит к тебе большого специалиста по данному вопросу, сам тут же с тобой на ходу и подучиваясь. Получается что-то вроде треугольника: специалист, КВЧ и писатель с его волшебным колобком. Зная этот колобок, обладающий способностью всякие жизненные факты превращать в ценности иного порядка, вроде как в электричестве бывает трансформация первичного тока в ток высокого напряжения,— в глубине души, естественно, я считаю и специалиста и КВЧ тихоходами и не отказался бы об этом открыто сказать, если бы не знал достоверно, что они оба считают меня за дурака и успех мой понимают в смысле: дуракам счастье. Отношения специалиста и КВЧ в нашем треугольнике еще более занятные. Каждый специалист, сосредоточенный на совершенствовании себя в какой-нибудь области, тем самым обретает волей-неволей сознание своего достоинства и своей высоты; ему представляется, что он, как специалист, открывший нечто небывалое,

в своем роде единственный. Напротив, КВЧ заблуждается в противоположную сторону.

Во время моего путешествия по Северу в моем треугольнике были КВЧ разных способностей, разного ума, характера, и как исключение встречались даже мученики, по природе своей неспособные быть КВЧ, то-есть отвешивать точными дозами культурные ценности, считаясь с той или другой индивидуальностью. Из всех этих товарищей в памяти моей остался целиком один Гернаш. Как и многие на Соловках, он вышел в начальники из заключенных и, как я думаю, в свое время довольно беды натворил. Вглядываясь в него, я часто думал о Мефистофеле, которому за ослушание, за какой-нибудь непотребный «мефистофельский жест» дали полную катушку, или все десять лет заключения. Легко можно догадаться, как поступил бы Мефистофель в этом не предусмотренном в «Фаусте» положении: живой и гибкий, он не только перековался бы сам на добро и сократил бы свою «катушку» до ничтожных лет, но отлично стал бы приспособлять к советскому делу всех сотворенных им же когда-то воров, бандитов, кулаков. Часто обдумывая отношения в нашем треугольнике, я так понимал наши углы с КВЧ: он очень почитал меня, как известного писателя, тридцать лет тому назад написавшего «Колобок» — книгу о Севере, и везде говорил о моем волшебном проводнике, превращающем всякую действительность в сказку; но он глубоко презирал во мне, ныне существующем, живого человека, способного еще что-нибудь написать, и не видел колобка, ведущего меня в этом новом путешествии. Сказать бы устно, я бы о нашем треугольнике в один день рассказал очень хорошо, но писанное слово требует непременно много труда и времени. И чем дальше я отдаляюсь во времени от первых своих впечатлений, тем создаваемая мною действительность должна казаться все более и более реальной, чем первая. Так обыкновенно бывает трудно соврать в первый раз, потом становится все легче и легче, пока, наконец, до того привыкнешь к своему вранью, что сам же и станешь считать его за действительность. К счастью, времени от первых моих северных впечатлений не очень много прошло, и я еще способен следить за собой и в состоянии предупредить, что Гернаш есть

вторичное существо, преобразованное мной из множества обыкновенных КВЧ. Благодаря этой близости к жизни я сейчас еще не рискую явить своего Гернаша как настоящего Мефистофеля из пуделя. Пусть он начнется с того, что Гернаш просто вышел из толпы, провожавшей наш пароход «Ударник» с баржою «Кларой» на Соловки, и спустился по трапу к нам. Мы вынуждены были ехать на этом буксире из-за того, что основной пароход, крейсирующий между Кемью и Соловками, один из лучших северных морских пароходов СЛОН (Соловецкие лагери особого назначения), ввиду вышеописанного увлечения начальника мурманской селедкой, был снят отсюда и отправлен в Иоканьгу. Вот из-за этого мы и поехали на маленьком буксире «Ударник», влачившем за собой огромную «Клару». Во всей команде «Ударника» нет ни одного вольного человека, исключительно все заключенные, но, конечно, уже доказавшие свою готовность добросовестно выполнять порученное им дело, кратко же говоря по-местному — люди перекованные. На «Кларе» же едут туда, в Соловки, самые первоначальные заключенные, сырой материал для перековки, или просто навал. Гернаш имел счастливейший случай демонстрировать нам деятельность КВЧ, сравнивая людей на «Кларе» и на «Ударнике». Молчаливо и с большим достоинством работали на «Ударнике»; на вопросы они отвечали дельно и коротко, оставляя внутри себя свою личную жизнь. В виде опыта я заводил речь об их личной жизни: как живется, как что нравится или не нравится, — и все они отвечали мне, как воспитаннейшие англичане: кажется, очень искренно и с большой готовностью, но в то же время наставляя тебе обеими ладонями врастопырку длинный нос. В противоположность полнейшую «Ударнику», люди на «Кларе» были не только еще не организованы для какого-нибудь общего дела, но даже между собой еще не спелись и не разбились на мало-мальски солидарные группы. Какие это были люди — можно судить по тому, что, как только мы выехали в открытое море, и их примитивному глазу не на что стало глазеть, так головы начали придумывать затеи, и кое-кому удалось кое-что своровать у товарищей, вместе едущих на многолетнее заключение. Поднялась на «Кларе» великая кутерьма. Появилась там немо-

лодая женщина, довольно интеллигентного вида, как оказалось потом — акушерка из Соловков, и принялась уговаривать безобразников. Какая опытная была эта женщина, если пять лет как заключенная пробыла в Соловках! Но вот все-таки и на старуху вышла проруха: в то время как она уговаривала и даже разнимала дерущихся, у нее у самой что-то украли. Вот когда и акушерка завыла, Гернаш и предложил мне перейти с ним на «Клару», предупредив меня поручить все свои карманные вещи капитану.

«Ударника» придержали. «Клару» подпустили, и мы перешли с борта на борт. Трудно мне собраться в себе, чтобы там где-то, из глубины себя достать значение встречи с моими глазами множества глаз заключенных и назвать это словами: эти острые глаза, устремленные на нас, пронизывали со всех сторон, и в каждом взгляде было нечто свое. Если вы встречаете какое-нибудь характерное лицо и говорите: «Вот тип!» — это значит: «тип» уже был в вашем сознании, и вы только нашли ему иллюстрацию в жизни; но бывает, «типа» нет в нашем сознании, и вы встречаете никому еще не ведомое *я* дерзко просвечивающее через огромную толщу социальных условностей. Так вот я на «Кларе» сразу очутился в кругу этих многих неназванных *я*, подавленный невозможностью успокоиться на каком-нибудь «типе». В то же самое время Гернаш, человек, ограничивший себя выполнением плана, в один миг разобрался в этом «навале» и, выбрав себе лицо, не особенно дерзкое, спросил:

— Какая статья?

Это значило, что он, начальник, желает знать, по какой статье кодекса осужден заключенный. Как только начальник спросил: «Какая статья?» — все устремленные на нас глаза переметнулись на спрошенного.

КВЧ знал, кого выбрать. Если бы он любого спросил из этих дерзких людей, они бы на вопрос: «Какая статья?» — сказали бы: «Своей нет, чужую дали». Но этот спрошенный так просто и сказал:

— Статья моя, гражданин начальник, сто девятая.

Такой статьи в нашем уголовном кодексе не было.

— Украинская?

— Нет, карельская.

КВЧ, не знавший карельского кодекса, спросил:

— А что это?

Спрошенный попал в трудное положение. И еще бы! На то и существует цифра статьи, чтобы в ней стиралось лицо данной индивидуальности, а тут надо называть прямо дело, да еще какое дело-то!.. Заключенный даже немного покраснел от смущения и тихонько сказал:

— Спекуляция...

Кто-то подал реплику и пояснение:

— Торговал круглой скотинкой.

А другой, быстро поняв, о какой «круглой скотинке» был разговор, пояснил для непонятливых:

— Круглой скотинкой: безрогой.

Спасая спекулянта от града насмешек, Гернаш быстро обернулся к другому, тоже с довольно приятным лицом, но тот даже не допустил вопроса и сам сказал:

— Моя статья интересная!

И вслед за тем нагло раскрыл:

— Изнасилование.

Акушерка, услыхав «изнасилование», даже сплюнула и тем очень заинтересовала меня. Я потихоньку решился спросить эту немолодую женщину, по какой статье попала она в эту компанию. И в ответ она бросила:

— Бытовая.

— Что это?

— Я акушерка.

Недоуменно смотрел я на нее.

— Что-то вроде Иосифа Прекрасного, только не в его годах, — буркнула акушерка. — Ничего не понимаете!

Я извинился, и она, сконфуженная моей вежливостью, довольно мягко сказала:

— Говорю — акушерка и бытовая статья, значит — аборт.

Я опять извинился, и мы с акушеркой повели беседу, очень для меня интересную. За большие заслуги ее перевели было на материк, но она теперь добровольно возвращается в Соловки, где провела несколько лет.

Каким обожанием окружена женщина в Соловках! Заключенный мужчина имеет жгучую потребность в иллюзии: он сентиментален, ему нужна дама сердца. И что делать, если этих дам в несколько десятков раз меньше, чем искателей!

После некоторого раздумья и разговора об одном перешенном в медицине вопросе я спросил акушерку, приходится ли ей...

— Приходится! — сразу догадалась она.

И рассказала один из многих соловецких романов, в котором она действовала как акушерка.

Была в заключении молоденькая монашенка, и не отказчица, а очень рабочая, очень даже работящая девушка, очень хорошая. Мало ли как может запутаться человек и попасть в беду! «От сумы и тюрьмы не отказывайся». Замечательно было, что и в этих условиях и среди таких людей монашенка постоянно и всем повторяла: «Спаси, господи!» Можно ли было подумать? Нет, никак, ни при каких явных признаках не могла явиться догадка. И вдруг в один прекрасный день — трах!

Акушерка сказала это «трах» так энергично, что я даже вздрогнул и спросил:

— В чем дело?

— Бах! — повторила она. — Вот те и «спаси, господи!» Нам всем как громом ударило, силы небесные, — трах! и родила.

Тут акушерке все и раскрылось: так вот из-за чего монашенка два раза в воду бросалась, вот почему раз в петле была, и чего только не принимала и чем только не травилась! Бедная Гретхен! По словам акушерки, никто не знает, какой Фауст был причиной этих невозможных страданий. Материнство, однако, оказалось спасительным в этом случае: Гретхен стала счастлива, она все свое свободное время проводит в яслях и ребенку все отдает и «спаси, господи!» говорить перестала.

Подумав о Фаусте, я вслух сказал:

— Какой негодяй!

Акушерка так и вскинулась:

— Вы про кого это?

— Конечно, про неизвестного. А вы разве иначе смотрите?

Акушерку это даже как будто лично задело, и она опять обрушилась на меня, как тогда на Иосифа Прекрасного:

— Ничего-то, батенька ты мой, как и все мужчины, в этом не смыслишь... Кто тебе сказал, что он неизвестен?

— Да вы же сами перед этим сказали: «никто не знает».

— Ты должен был понять это: никто не знает, кроме меня. Я же перед этим ясно сказала, что соловецкий мужчина в нас видит свою единственную, хотя у многих «единственных» по десять по крайней мере обожателей. По десять — и то все единственная. Но что же это будет, если и в самом деле она единственная!

И защитница Фауста, разгневанная на меня за недоброе слово, долго говорила о проделках и ухищрениях никому не известного Фауста, помогавших ему изредка видеться с матерью ребенка и передать ей все, что он заработает.

При этом рассказе акушерки мне представилось переменное мое отношение к «Отверженным» Гюго: в отрочестве мне казалось все в этом романе волшебной правдой, потом все кругом убедили меня в нереальности этих лиц, а дальше я сам много раз встречал их в жизни, как у Гюго.

Это известно, что когда задумаешься, разбираясь в подобном рассказе, и потом «приходишь в себя», то в устремленные глаза попадают самые диковинные вещи: среди заключенных я увидел великана, какое-то тряпье висело у него на плечах, на обнаженных громадных мускулах были вытравлены синим два целующихся голубка и большой портрет женщины, под ним — Муся и восклицательный знак. На мою просьбу сфотографировать это великолепие великан сразу же обнажился, и много других тоже открыли свою татуировку и просили меня их тоже снять. Я помню, как и нас, ребят, тоже когда-то очень тянуло к татуировке, и тоже всюду была «она», эта «Муся». Но были мы дети, а тут — разбойники, бандиты, воры... В особенности хорош был один, весь, как индеец, исписанный. На груди у него птицы несут крест, и надпись: «Боже, храни меня!» Левая рука — крест в кругу, с надписью: «Вера, Надежда, Любовь». В другом кругу — сердце, пронзенное стрелой, с надписью: «Груня!» Правая же рука у кисти — русалки несут якорь, на самой же кисти — мотылек и слова: «Я помню день любви!»

В то время, как мой волшебный колобок открывал мне это

нездоровое запоздалое детство, завершенное преступлением, Гернаш, не обращая на все это никакого внимания, выспрашивал подробно и дельно у заключенных, кто чем раньше занимался, в чем имеет навык, к чему больше был склонен. Он набрал столяров для мастерских музыкальных инструментов на Соловках и этих столяров и токарей разделил: все восточники, корейцы, китайцы охотнее шли на работы по отделке, главным образом политурой; русские старшие — столяры, мальчики стремились на динамические токарные работы. Множество было всяких мастерских на Соловках, и, думая обо всех о них, Гернаш пытался выбрать из этого «навала» работников. Вот так именно и канал создался: надо было так сотни тысяч людей разобрать и поставить всех на свои места.

Вернувшись к приятельнице своей, акушерке, я ей прямо так и сказал, что в иных случаях Гернаш делает не только полезное дело, а прямо-таки счастье дает. Акушерка вполне согласилась со мной и рассказала удивительную историю с обращением на правильный путь жизни одной соловецкой хорошенькой девушки, Маши Отказовой.

Среди заключенных в Соловках была одна особенная группа отказчиков: так называют там тех, кто категорически отказывался от всяких работ. Вопреки общему закону социалистической республики: «кто не работает, тот да не ест!» — этим отказчикам все-таки давался небольшой паек. Охотников на этот паек находилось все-таки немного: сидят, ничего не делают, даже и не движутся: ни живые, ни мертвые. Все трудящиеся люди в Соловках, не вникая в сокровенные мотивы отказчиков, глубоко их презирают как тунеядцев. Но одно время в этой группе отказчиков были никому не ведомые странники, или скрытники, — остатки секты, наиболее характерной для старой, одновременно и рабской и анархической России: считая всякую государственную власть, начиная с императора Петра, делом Антихриста, они скрываются от нее и уходят во все более и более глухие места. Они считают великим грехом не только называть свое имя и родину, но даже прочно задерживаться на месте; на все такие вопросы у них один ответ: «Мы — странники божьи, ни града, ни веси не имам». Так дожили эти исторические ре-

ликты до революции, которая все измерила в стране, все сосчитала, и скрытники остались, как рыба на сухом берегу. Раньше эта секта среди множества всяких других была довольно известна, и мы понимали, если встречный, бывало, скажет: «Мы странники божьи...» Но, если теперь человек забормочет столь непонятные слова, его признают или сумасшедшим или хитрецом. И так вышло против всякого желания начальства, что несколько десятков таких людей долго сидели, отказывались от работы и не называли своих имен. Они пересидели все сроки, и их охотно бы выпустили, но в том-то и дело, что странникам невозможно было, по своим убеждениям, открыть свои имена, а начальству невозможно было отпустить на волю безыменных людей. Среди них была одна молоденькая, милая и очень хорошенькая девушка. Гернаш обратил на нее внимание, понимая, как это неестественно живому прекрасному существу оставаться среди хлама никому не понятного суеверия.

Как раз против женского барака с отказчицами находился телятник нынешнего соловецкого чудесного холмогорского стада, и однажды Гернаш случайно заметил, как эта девушка подошла к решетке, дала цветок одному, особенно хорошему теленку, склонилась поверх решетки и принялась теленка обнимать. Гернаш прошел мимо девушки, не подавая и виду, что он это видел, а сам, конечно, догадался, что девушка постоянно ходила к телятам, что эта прогулка, быть может, была ее единственной отрадой. На другой день он уже подстерегал ее с ключем от телятника и, когда она и в этот раз предложила цветок тому же самому теленку, вежливо обратился к ней с просьбой немного помочь ему задать корма телятам. Девушка с большой охотой согласилась и долго помогала ему кормить всех телят. Через несколько дней он передал ей ключ и, ссылаясь на какое-то важное дело, требующее его на материк, просил несколько дней покормить телят самостоятельно. Да так вот незаметно и втянул отказчицу в это милое дело — ухаживать за прекрасными, породистыми холмогорскими телятами. История умалчивает о тех отношениях, какие сложились у девушки с отказчицами после того, как она стала ухаживать с утра до ночи за телятами и получать за это хороший рабочий паек. Наверно, эти отношения все

более портились и дошли до того, что девушке оставалось решать: сидеть с мрачными женщинами — или жить на воздухе припеваючи, занимаясь делом, любимым и полезным для всех. А телята между тем, само собою понятно, при таком любовном уходе росли наславу, и агрономы обратили на это внимание, прописав ударницу на красной доске лучшей из лучших. Так во время индивидуализма Мефистофель несчастную Гретхен соблазнил для любовного опыта Фауста, а в наши времена Гернаш сделал Машу Отказову одной из самых полезных работниц Соловецкого лагеря особого назначения. И не то гениально, что, соблазняя отказчицу, в решительный момент он поднес ей в награду за отличную работу подходящий к ее милому личику цветом и тоном отрез, а что в этом отрезе дал количество метров такое, чтобы юбка вышла только самая коротенькая. Когда Маша Отказова, зардевшись, приняла отрез, ей прислали портниху; а когда платье было готово, и она увидела себя в коротенькой юбочке, то сама тут же попросила фотографа, чтобы сняться и дальше процветать на этом приятном пути ухода за холмогорскими телятами.

Не раз случалось агенту культурно-воспитательной части ликвидировать неграмотность одним только чутким прикосновением к заключенной душе. Вот была тут девушка, упорно не желавшая учиться грамоте; она завела себе обожателя. В лагерных условиях, все равно как в закрытых учебных заведениях, при крайне трудных условиях соединения «сена с огнем», любовь часто принимает длительный романтический характер; обожателю остается, глядя на предмет своей страсти, только хахать по-собачьему, за что они, может быть, и получили себе прозвище хахалей.

А девушки в этих условиях предаются писанию писем. Так вот и наша неграмотная девушка ходила к своей грамотной подруге писать письма, принужденная волей-неволей ей доверять всю свою интимную жизнь. Прознав это, Гернаш сближается с девушкой и соблазняет ее не к простому, а к страстному занятию письменной словесностью, которая в скором будущем даст ей возможность все свое свободное время отдавать письмам к хахалю.

3. Белое море

Друг мой, когда я почти тридцать лет тому назад был в Соловках и вам же писал свои письма, ведь и тогда еще Соловки были мне как прошлое моего родного народа, как милая древность с неприятным для меня запахом ладана и постного масла. Тогда в письмах своих к вам я добродушно посмеивался над тем, что для некоторых тогда еще было святыней. Но теперь это прошлое совершенно прошло, и встреча с ним тяжела: тебе хочется трудную жизнь свою кончить песней о здравии, а родные древности требуют, чтобы ты слушал их заупокойную.

Я устроился жить в этот приезд не рядом с губернаторшей, в номере гостиницы, как в те далекие времена, а в домике, принадлежавшем раньше наместнику, на берегу моря, как раз против той самой, памятной мне гостиницы. Здание это вполне сохранилось, но балкона, на котором я тогда заметил шляпу губернаторши, теперь вовсе не было. Против моего окна смотрится в воду соловецкий кремль, но какой! Тут большой пожар уничтожили почти все деревянные золоченые купола церквей; корпуса от тесно стоявших одна возле другой церквей сохранились, и благодаря этому кремль стал похож на какой-то фантастический город из арабских сказок. Я взбирался на самый верх Преображенского собора и только наверху, в развалинах, увидел несколько гнездящихся здесь, знаменитых когда-то соловецких чаек. Некоторые мне говорили, будто чаек напугал пожар, и они перелетели куда-то; другие — что их постепенно извели люди. Не могу сказать, чтобы я особенно о них горевал; я ведь люблю птиц диких, а монахи отлично поняли декоративное значение чаек, охраняли их, богомольцы раскормили своими пирогами, и священные разжиревшие птицы ужасно орали и гадили. Тут, в развалинах, птицы эти опять одичали и, снова, прекрасные, жили здесь уединенно, по-своему. Я видел их тут, в развалинах, на фоне совершенно тихого моря, горящего от полуночной зари. И так было это хорошо, что я совсем забыл об изуродованных древностях. К счастью моему, в деле охраны природы на Соловках сравнительно с прежним не только не убавилось, но даже и сильно прибавилось: разведение соболей здесь в своем перван-

стве спорит с московским зоопарком, ондатра уже начинает попадаться в капканы, поставленные в чуланах на крыс, песцы голубые во множестве живут свободно почти на всех островах. Однажды я бродил совершенно один в глуши, несмотря на предупреждение начальника о возможности встречи с какими-нибудь опасными беглецами. Я встретил голубых песцов, записал об этой встрече. Извините, рискну прервать это письмо и угостить вас своей беллетристикой.

Отлив

Помню, это было в далекие времена моей юности, был камень-часы в Белом море; по этому камню мы узнавали полую воду и дожидались, когда камень срежет: скроется камень — и мы выедем в море на лодке. С тех пор прошло почти уже тридцать лет, и вот опять прибылая вода срезала камень, и опять у ног моих белый кружевной прибой, и попрежнему прибойная волна говорит свое: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте!..

И прощайте!

Волна отходит, вода убывает, показывается дно, больше, больше, и вот еще камень в воде, но скоро и он покажется весь. Из-за деревьев осторожно вышли песцы, один высмотрел забытую морем рыбинку, другой занялся ракушками. Они очень жадные. Раньше их держали в клетках, но потом выпустили: пусть сами кормятся, а с островов им никуда не уйти. Вдруг поднялся шум, крик; песцы убежали в лес, только мелькнули хвосты. Выбежали два красноармейца и бросились по сухому дну отлива, через камень, на ту сторону, на другой остров. Там они остановили какого-то человека и спросили его документы. У этого человека все документы оказались в порядке, произошла ошибка: вор убежал в другом направлении. Пока возились с этим человеком и напрасно искали следы другого, отлив кончился, и вода начала прибывать.

Прилив

Прибылая вода прежде всего устремилась в то низкое место, где лежал камень. Его скоро срезало, и вода, сначала как небольшая лужа, соединила оба острова. Красноармейцы, быть мо-

жет, еще могли бы перейти. Но возможно, у них текли сапоги, или просто так они не решились и бросились в лес, за жердинами. Они скоро принесли две длинные слеги и перебросили их через воду. Один, более решительный, балансируя руками, кое-как прошел; но, пока возились, и он переходил, воды еще немного прибыло, и, только он ступил на землю, одну из жердин унесло, а по одной переходить другому красноармейцу было опасно. Лес был гораздо ближе к тому красноармейцу, который перешел, и тот побежал в лес за жердиной, а другой от нечего делать стал прилаживаться для перехода по одной. Когда с огромной жердиной вернулся красноармеец, то на протоке уже не было и второй слеги, тоже унесло, и красноармеец на другой стороне, вероятно, ушел в лес. Перекинув жердину, второй красноармеец стал звать товарища: вода быстро прибывала, и через несколько минут переход должен был сделаться совсем невозможным. Подъехал человек на дрогах, не рассчитавший времени прилива, и застрял в воде. Человек этот был свой, из заключенных; оба они, и заключенный и красноармеец, в два голоса стали кричать, звать по имени другого красноармейца. Но тот не отзывался, а вода все прибывала и прибывала, унесла и эту жердину, и волна, рассыпаясь у ног встревоженных людей, как ни в чем не бывало повторяла свое вековечное: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте!..

Отлив

Было уже поздно спасать, когда поняли все. Осталось только дожидаться отлива. Лошадь отпрягли и пустили пастись в лесу на траве. Все-таки не верилось, и действительно трудно было думать, чтобы мог утонуть человек, когда большой камень только что срезало: тогда ведь воды, пожалуй, не больше, как только по грудь человеку. Чем объяснить? Пока сбывала вода, пытались на все лады объяснить необъяснимое, и все в хорошую сторону: что пошел он на ферму; что встретил кого-нибудь, и вместе пошли; а может быть напал на след убежавшего и пошел по следам. Так приливало в хорошую сторону, а потом отливало: что незачем ему одному было итти на ферму; что никого он встретить не мог; что бандит вовсе тут не был. А вода все сбывала, и начал уже показываться камень, и когда уже и до половины

показался, то ясно было, что человек не утонул, а куда-то ушел. Да и как же он мог утонуть в двух-трех десятках шагов от товарища, не крикнув: «Ратуй, товарищ, тону!» Но когда воды у камня осталось только лишь, чтобы покрыть вплотную человека, лежавшего на самом дне, и убыло еще немного, то вдруг сразу и открылось, почему человек утонул, даже не крикнув: «Ратуй, товарищ!» Он утонул потому, что упал плашмя в воду, винтовкой зацепился за камень и в короткие минуты жизни без дыхания не успел понять причину беды.

Сухая вода

Вода ушла и еще не пришла: это называется у поморов «сухою водой». По этой сухой воде люди подъехали к покойнику, уложили на дроги тело и увезли. Пришла новая вода, и, когда снова стала сбывать, и показался камень, тюлень вышел из воды, лег на камень и задремал в лучах горячего солнца. Тюлень забылся, вода ушла далеко, и он, неспособный бегать, остался на сухой воде. Голубые песцы за деревьями ждут каждую сухую воду — и непременно каждый раз от нее что-нибудь получают. Жадные, дерзкие, хитрые звери тихо вышли из леса. Чутко спящий тюлень понял их приближение, схватился, чтобы броситься в воду, но вокруг далеко была все только сухая вода.

Прилив и отлив

Песцы любят делать запасы пищи, и часто сотню птиц можно найти у них только в одной кладовой. Они так разобрали тюленя, что не оставили морю даже и косточек. Пришла вода и все вымыла. Уйдет вода — прощай! И здравствуй! Опять пришла. Камень то покажется, то спрячется: прощайте и здравствуйте!

Волны баюкают, солнце греет. Но за много лет тяжелой борьбы я научился хранить себя от всяких соблазнов и лучше всякого сторожкого зверя чую врага: за этими прекрасными северными белыми березками стоят мои песцы. Этим жадным зверям надо много запасов; они только что убрали тюленя, глядят на меня теперь, как на свою добычу, и облизываются.

— Ах, вы, черти! — крикнул я им.

И в березках мелькнули хвосты.

4. Жизнь острова

Дорогой друг! Не хотел бы я быть заключенным и вовсе не потому, что боялся бы утратить личную свободу, — нет! Я не хотел бы заключения только потому, что едва ли мог бы найти в себе такую силу, чтобы справиться с чувством личной обиды, мешающей независимо от себя, уязвленного, следить за движением истории. Я тоже не хотел бы остаться равнодушным и быть только свидетелем. А вот бы мне очень хотелось близко принять к сердцу соловецкое дело и творчески продолжить его и просветлить ясным сознанием. Разбираясь в своих материалах, я так понимаю, что в Соловках я застал самый конец той деятельности, которая началась лесными разработками на островах и перешла в строительство Беломорского канала и продолжается сейчас в других подобных строительствах. Мне советовали представлять себе ход событий в этом процессе таким образом: первый период — работы в лесу, или, как уже теперь определяют это время, просто «лес», — имел значение как бы социальной мешалки, приводящей в тесное соприкосновение между собой индивидуальности, размещенные крайне разнообразно и на социальной лестнице и в национальных кузовах. Второй период — освоение острова, с раскрытием разнообразнейших индивидуальных и групповых особенностей заключенных. В третьем периоде — лучшие кадры заключенных, сработавшиеся на островном производстве, переходят на материк, создают Беломорский канал... Я застал процесс свертывания многих интереснейших начинаний, связанных не так с особенностями местной природы, как с пребыванием здесь соответствующих этому делу людей: люди ушли, и дело их кончается. Напротив, сельское хозяйство, пустившее корни глубоко в местную природу, при мне дышало полным здоровьем, и я с наслаждением осматривал и чудесное стадо холмогорских коров, и замечательные опыты с культурами, о которых и в голову не приходило монахам. Видел я одно поле, на котором, как и возле пороховых складов, было строго запрещено курить: от одной искры сушеный и пересушенный торф мог бы сгореть со всеми своими культурами. Видел я в Соловках, у полярного круга, культуру картофеля, ржи, овса, даже пшеницы; из огородных растений — свеклу, морковь,

огурцы, помидоры, цветную капусту. Монахи ничего этого не знали, потому что пришли сюда с нашего юга, где очень боятся ранних утренников и при длинном летнем вегетационном периоде могут как угодно запаздывать с посевами. Им не приходило в голову рисковать ранними посевами на Соловках и тем удлинять соловецкое, сравнительно с югом короткое лето. Верно ли это, данное мне специалистами объяснение? Если не верно, то можно удовлетвориться и таким простым соображением, что монахи не были кровно заинтересованы в культурах, плоды которых так просто можно было получить с юга в обмен на молитву.

В процессе свертывания я все-таки много видел всего. Меня совсем закормили. Каждое утро перед началом работ ко мне является Гернаш с каким-нибудь специалистом, и треугольник наш приходит в движение до самого вечера. С утра до ночи я записываю, признаюсь — часто для того только, чтобы не заснуть и не мутными глазами смотреть в честные глаза специалиста и неуемного КВЧ. Если бы я с давней поры не построил своей работы только на тех материалах, которые сами собой, как бы по собственному их желанию, входят в меня и потом выходят, как родные существа, я мог бы наболтать несколько неплохих даже томов о быте и нравах заключенных в Соловках, о пошивных мастерских, о производстве музыкальных инструментов, о торфодобывании, о дендрологическом парке, разведении голубых песцов и соболей, холмогорском скоте, театре, краеведении, музее, криминологическом кабинете. С утра до ночи наш треугольник переходит от одного к другому. КВЧ объявляет: «Внимание!» Специалист принимается за доклад. Я слушаю, записываю. Так вот, осмотрев наконец сельское хозяйство, я почувствовал Соловки в двух планах: одни Соловки, чисто человеческие, ушли отсюда на Беломорский канал, другие — коренятся в местной природе, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем, когда военная схватка разрешится согласным творчеством народов с идеалом жизни, прежде всего здоровой, — здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера. Я понимаю санаторий не в том смысле, что надо больному лежать на пляже, есть виноград или читать книжку, или пить боржом и молоко. Здоровье

приходит к человеку в действии, согласованном с его интимнейшей природой, расширяемой чувством родственного внимания к окружающей среде: это было так сильно у Гете, Толстого и, как я догадываюсь, тоже и у Шекспира. В будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот тогда-то Соловки и сделаются любимейшим островом здоровья для всего Севера. Забрав себе это в голову, я захотел поближе познакомиться с соловецкой природой для устройства здесь санатория, и, как только я высказал эту мысль свою КВЧ, он позвал одного натуралиста, и наш треугольник отправился не для осмотра сделанного, а для разведки возможностей будущего.

Мы пришли к морю и говорили о траве Zastera marina, которая осталась здесь с тех далеких времен, когда моря Белое и Балтийское были еще одним морем. Zastera marina об этом времени свидетельствует, водоросль эта есть и там и тут, но в океане ее уже нет. Говорили мы у моря еще о том, что оно, разделенное ныне с Балтикой, стало оригинальным бассейном, и в нем теперь совершается видообразование столь же бурно, как в кипящей колбе: похоже, как будто варится в нем масса и создаются все новые и новые виды. Это легче всего можно видеть по соловецкой сельди, не похожей ни на какую другую; по соловецким чайкам, которых иностранцы начинают принимать за новый отдельный вид. Мы говорили еще о множестве разных признаков, появившихся у растений и животных именно вследствие раздела Белого моря с Балтикой, и это привело нас к вопросу: может ли снова повлиять на флору и фауну моря Беломорский канал, восстанавливающий древнюю связь? Стали мы думать. Вот хотя бы взять обыкновенную большую синицу, — почему именно она одна из всех синиц, конечно, тоже могущих отлично жить на острове, попала сюда и прижилась? Вполне возможно предположить, что это человек завез ее сюда. Или взять живородящую ящерицу, для которой море — смерть, как для всех земноводных. Каким образом она попала на остров, окруженный соленой водой? Есть один вид лягушки, тоже попавший на Соловки каким-то неизвестным нам образом. И если такие крупные существа находят себе путь на остров, то что же говорить о мелких! Сколько маленьких ры-

бок обсыхает в режах шлюзов, когда пароход спускается! Одних уносят птицы, других — новая вода, наполняющая шлюз. Нет никакого сомнения, что и для той, далекой от человека природы канал, восстанавливающий древнюю связь морей, имеет громадное значение. Так, с мыслью о влиянии канала на жизнь природы, случайно мы оторвали кусок коры одного старого дерева и в нем увидели тоже канал: личинка лубоеда, очнувшись этой весной, начала в лубке вести свой канал; она поедала лубок, оставляя за собой проедь; и чем больше ела, тем больше росла, и от этого канал за ней становился все шире и шире; ее испражнения удобряли канал, на удобренной почве селились растения. Такой переход наш от мысли о Беломорском канале к этому озелененному каналу лубоеда перебросил нас в иные сроки жизни, и тут оказалось, что весь Соловецкий остров живет своей собственной жизнью и поднимается над уровнем моря на семнадцать сантиметров в столетие.

Вспомните, дорогой мой, прежние мои письма к вам о монахах, когда на слова мои о командировке от Географического общества строитель скита ответил мне, что никакой географии у них на острове нет, и что география вообще стала неважная: «Вот, слышно, города стали проваливаться». Какая мертвечина сознания! И как волнует, когда на том же самом месте узнаешь, что остров живет своей собственной цельной жизнью, вырастая из воды на семнадцать сантиметров в столетие! Конечно, у многих ученых сравнительно с монахами есть тоже свои недостатки: взять хотя бы это, волнующее нас, простаков, геологическое время, — ученые так привыкают к нему, что отсчитывают тысячелетия с таким же равнодушием, как мы свои на карманных часах минуты, необходимые нам, например, чтобы сварить яйца вкрутую. К счастью, весь наш треугольник был тут в полном составе: натуралист подавал нам факт, я его преломлял в своей призме, а КВЧ подучивался и определял для какого-нибудь практического дела.

Услыхав о том, что большой Соловецкий остров постепенно выдвигается из моря, я очень захотел видеть и понимать этот остров не отвлеченно, а всей своей личностью. Натуралист предложил мне для этого просить у начальника аэроплан, но КВЧ

оказался практичнее: неизвестно, разрешит ли еще начальник нам полетать, а между тем мы сейчас же можем отправиться на Секирную гору, и оттуда, с высоты маяка, весь большой остров будет виден, как на ладони. Единогласно одобрив эту мысль, мы немедленно отправились к Святому озеру, сели на моторную лодку и поехали по «канальной системе», устроенной еще монахами. Это известно, что озера в Соловках занимают пятнадцать процентов суши, значит земля здесь с высоты вся — как решето. Особенно показалось мне прекрасным озеро Красное, где с лодки видел я на большой глубине рыбу. Переезжая таким образом из одного прекрасного озера в другое, еще более прекрасное, я стал понимать, что выбор места древних колонизаторов края был сделан далеко не на основе аскетического истязания плоти. И еще с большей силой пришло мне это в голову, когда наш натуралист познакомил нас с относительно очень мягким климатом острова. Этот натуралист, к моей радости, оказался далеко не типичным спецом треугольника. Конечно, он очень страдал здесь от невозможности без большой лаборатории сделать свою магистерскую работу. Но невозможность отвлеченной работы принудила его обратить любовно-родственное внимание на окружающее его и сделаться замечательным краеведом Соловецкого острова.

Как только мы вышли на берег и лесными тропинками направились в сторону Секирной горы, так сейчас же и началось чтение увлекательной книги природы, открывающее цельное и вечное движение в переменах. Иногда мне кажется, что внимание к мелочам вовсе не определяется потребностью знания: вот хотя бы это множество шмелей, перелетающих с их обычным гудением с цветка на цветок, — они так интересны, и так хочется за ними просто бездумно следить; но, конечно, интерес к ним особенно усиливается, когда узнаешь, что в Соловках это главные и почти единственные опылители, потому что пчелам, летающим за взятком часто высоко над деревьями, плохая жизнь на острове: ветер их перехватывает и бросает в море. Мягкость и влажность островного климата, вероятно, определили обилие насекомых. У тропинки, по которой мы шли, между деревьями было очень много брусничника, но его поедала моль-чехлоноска в своих щитках из березовых листьев: так у них полагается, чтобы вырезать из бе-

резового листа круглый щит и, им прикрываясь, ползти на бруснику и обжирать ее листки. Всюду на стеблях виднелись пенистые гнезда травяной цикады. На березах висели маленькие, очень характерные для соловецкой природы «фунтики». Когда наша тропа в ложбине спряталась между моховыми кочками, мы открыли во мху много растений, пожирающих насекомых. Хищное растение р о с я н к а очень заняло КВЧ, он стал учиться сам находить его; поймает комара, отдаст росянке и следит по часам, во сколько времени растение растворит в своем соке животное. Отсюда мы поднялись на о з у, как здесь называются каменистые нагромождения ледника, и тут обратили внимание на цветение вереска. Это появление мельчайших лиловых листиков на вереске оказалось великим событием в соловецкой фенологии: цветение вереска точно совпадает с зенитом лета и началом темных ночей. Это известно, что растение сильно живет при действии света на его зеленые листья, но тянется вверх оно ночью. Так вот и замечено на Соловках, что до цветения вереска растения мало поднимаются вверх, но с наступлением темных ночей начинается всеобщий дружный рост: вот что значит цветение вереска. Работой соловецких заключенных собрано множество таких примет, и теперь по ним можно легко себе представить все круговое движение соловецкой природы. Лето, в зените которого, в начале темных ночей, происходит цветение вереска, длится всего шестьдесят дней — июль и август. Но между летом и осенью здесь следует выделить особый сектор — «позднее лето» — с первого по двадцатое сентября: начало расцвечивания берез. Самая осень в Соловках необыкновенно цветиста; в это время прозрачные альпийские озера бывают окружены золотыми лесами. Конец этого прекрасного времени года наступает вместе с губительными утренниками около двадцатого октября.

Зима начинается осыпанием хвои у елей и длится сто двадцать дней. Эта зима на Белом море, у полярного круга, оказывается во много раз мягче зимы под Москвой.

Между зимой и весной вклинивается особенным сектором «конец зимы» или начало весны и длится сорок дней, до первого появления живородящей ящерицы. Весна — пятьдесят дней, до массового появления комаров.

Давно уже в своих наблюдениях подмосковной природы я стал выделять пятое время года — эту весну света в феврале, когда на снегу ложатся голубые тени, и в воздухе в ярком солнечном свете с криком кувыркаются черные вороны. Мне было радостно узнать, что в Соловках эта весна света, мое личное понимание природы, получила научное фактическое выражение. Длительность периода весны света на Соловках сравнительно с московской природой происходит оттого, что таяние снега в лесах на острове сильно задерживается. Горячие лучи солнца днем вызывают у насекомых жизнь, а вокруг везде еще лежит снег. Выползают гусеницы, а ночью на ночь зарываются в снег. Вот большой муравейник, покинутый муравьями, оброспий вокруг густо папоротником. Сколько в этот покинутый муравейник, наверно, собирается весной света разных насекомых, ищущих холодною ночью приюта! Возле муравейника лежит кусок распавшегося дерева. Натуралист снимает с него кору и показывает нам следы жизни последней весны света. Жук, и довольно большой, вздумал перезимовать под корой этого куска дерева. Рядом с ним тоже устроился гриб, и с наступлением холодов оба рядом уснули — жук и гриб, животное и растение. Так они спали обычные сто двадцать дней темной полярной зимы. Пришла весна света и, разгораясь в полднях, стала давать теплоту. Гриб раньше жука почуял тепло и начал расти. Разрастаясь весной света все больше и больше, гриб своими тонкими нитями постепенно проник в тело жука, пронзил его. Прошло сорок дней весны света, и началась пятидесятидневная соловецкая весна, когда все жуки выползают из щелок. Наш жук, пронизанный грибом, не мог уже двинуться, и мы нашли его мертвым памятником весны света этого года.

Так узнавая на каждом шагу, читая, как книгу, местную и в то же время всюдную жизнь, мы пришли на Секирную гору и с высоты ее в лесах увидели бесчисленные озера большого острова. Море отсюда было видно не совсем кругом, но по туману в той стороне, где воды прямо не было видно, можно было легко догадаться, что и там тоже все вода, из которой остров поднимался на семнадцать сантиметров в столетие. Из раскрытых во все стороны окон башни маяка мы долго смотрели в эти рассеянные в темных сплошных лесах блестящие глаза земли.

СОЛНЕЧНЫЕ НОЧИ

Монастырские чайки долго летят за нами, прощаются. Потом одна за другой отстают, а вместе с ними отстает и тяжелое, мрачное чувство. Навстречу пароходу попадается какой-то дикий, заросший лесом остров. Кто-то мне говорит, что там живут два охотника.

— Одни живут?

— Одинешеньки. Два карела.

— Как же они живут?

— Да ничего. Хорошо.

Тут я вспоминаю, что у меня есть ружье, что я охотник. Я чувствовал себя в монастыре нехорошо, потому что туда идут люди молиться, а я... убежал за волшебным колобком.

И чем дальше от монастыря, тем лучше я себя чувствую; чем дальше, тем больше море покрывается дикими скалами, то голыми, то заросшими лесом. Это Карелия, — та самая Калевала, которую и теперь еще воспевают народные рапсоды в карельских деревнях. Показываются горы Лапландии, той мрачной Похиолы, где чуть не погибли герои Калевалы.

Кольский полуостров — это единственный угол Европы, до последнего времени почти не исследованный. Лопари — забытое всем культурным миром племя, о котором не так давно (в конце XVIII столетия) и в Европе рассказывали самые страшные сказки. Ученым приходилось опровергать общее мнение о том, что тело лопарей покрыто космами, жесткими волосами, что они одноглазые, что они со своими оленями переносятся с места на место, как облака. С полной уверенностью и до сих пор не могут сказать, какое это племя. Вероятно, финское.

Переход от Кандалакши до Колы, который мне придется совершить, довольно длинный: двести тридцать верст пешком и частью

на лодке. Путь лежит по лесам, по горным озерам, по той части русской Лапландии, которая почти прилегает к северной Норвегии и пересекается отрогами Скандинавского хребта, высокими Хибинскими горами, покрытыми снегом. Мне рассказывают в пути, что рыбы и птицы там непочатый край, что там, где я пойду, лопари живут охотой на диких оленей, медведей, куниц...

Меня охватывает настоящий охотничий трепет от этих рассказов; больше, — мне кажется, что я превратился в того мальчугана, который убежал в неведомую прекрасную страну.

Иногда и у самых культурных людей бродят дикие капельки крови. В зимнюю ночь, в то время, когда люди еще не успели заметить уже начавшийся переход к весне, бывают видения: засверкает солнце, перекинется мост из светящихся зеленых листьев на ту сторону, к лесу.

Зеленая опушка, трава с широкими листьями, деревья гигантские упираются в небо, невиданные цветы, звери и птицы, умные, добрые. Страна без имени! Когда-то в ней бывал... все знакомо... все забыто...

Мелькнет видение, — и наступает обыкновенное зимнее утро, разумное, дельное. Но что-то есть еще сверх обычного. Что это? Ах, да, скоро весна, облака светятся.

Бродят дикие капельки крови и у культурных людей, и у запертых в тюрьму бродяг, и у детей.

Страна без имени! Вот куда мы хотели тогда убежать — маленькие дикари. Мы называли ее то Азией, то Африкой, то Америкой. Но в ней не было границ; она начиналась от того леса, который виднелся из окна классной комнаты. И мы туда убежали. После долгих скитаний нас поймали, как маленьких лесных бродяг, и заперли. Наказывали, убеждали, смеялись, употребляли все силы доказать, что нет такой страны. Но вот теперь у каменных стен со старинными соснами, возле этой дикой Лапландии я со всей горечью души чувствую, как неправы были эти взрослые люди.

Страна, которую ищут дети, есть.

Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники.

В виду Лапландии я стараюсь восстановить то, что знаю о ней. Сейчас же мне помогают местные люди: священник, пробывший среди лопарей двадцать лет, купец, скупавший у них меха, помор и бывалый странствующий армянин. Все выкладывают мне все, что знают. Я спрашиваю, что придет в голову. Припоминается длинный и смешной спор ученых: белые лопари или черные? Один путешественник увидит брюнетов и назовет всех лопарей черными, другой — блондинов и назовет всех белыми. «Почему они, — думаю я, — не спрашивают местных людей из соседней народности? Попробовать этот метод».

— Черные они или белые? — спрашиваю я помора.

Он смеется. Странный вопрос! Всю жизнь видел лопарей, а сказать не может, какие они.

— Да они же всякие бывают,— отвечает он, наконец,— как и мы. И лицом к нам ближе. Вот ненцы, те не такие; у них между глазами широко. А у лопарей лицо вострое.

Потом он говорит про то, что женки у них маленькие. Рассказывает про жизнь их.

— Жизнь! Лопская жизнь! Лопские порядки маленькие, у них все с собой: олень да собака, да рыбки поймают. Сколотит вежу, затопит камелек, повесит котелок, вот и вся жизнь.

— Не может быть, — смеюсь я помору, — чтобы у людей жизнь была лишь в еде да в оленях. Любят, имеют семью, поют песни.

Помор подхватывает:

— Какие песни у лопина! Они — что работают, на чем ездят, то и поют. Был ли то олень — поют, какой олень, невеста — так в каком платьи. Вот мы теперь едем, он и запоет: «Едем, едем».

Опросив помора, я принимаюсь за священника.

— Лопари, — говорит он, — у н о р о в ч и в ы.

— Что это?

— Норов хороший. Придешь к ним, сейчас это и так и так усаживают. И семью очень любят, детей. Детьми, так что можно сказать, тешатся. Уноровчивые люди. Но только робки и пугливы. В глаза прямо не смотрят. Чуть стукнешь веслом, сейчас уши навострят. Да и места-то какие: пустыня, тишь.

Лапландия находится за полярным кругом; летом там солнце не заходит, а зимой не восходит, и во тьме сверкают полярные огни. Не оттого ли и люди там пугаются? Я еще не испытывал настоящих солнечных ночей, но и то от беломорских белых ночей уже чувствую себя другим; то взвинченным, то усталым. Я замечаю, что все живет здесь иначе. У растений такой напряженный зеленый цвет: ведь они совсем не отдыхают, молоточки света стучат в зеленые листья и день и ночь. Вероятно, то же и у животных и у людей. Этот священник, как он себя чувствует?

— Ничего, ничего, — отвечает он, — это привычка. И не замечаем.

— Вы как? — спрашиваю я купца.

— Тоже ничего... Вот только говорят, будто подрядчик один нанял рабочих на юге от солнца до солнца.

Все хохочут: помор, купец, священник, армянин.

— Не верьте никому про полуночное солнце, — говорит мне странствующий армянин. — Никакого этого солнца нету.

— Как нету?

— Какое там полуночное солнце! Солнце и солнце, как и у нас, на Кавказе.

КАНДАЛАКША

12 июня

Я за полярным кругом. Если взойти на «Крестовую гору», то можно видеть полуночное солнце; но мне нельзя уставать,— утром я выйду в Лапландию: из двухсот тридцати верст расстояния от Кандалакши до Колы значительную часть придется пройти пешком.

Как странно то, что я теперь в Лапландии, а в этой русско-карельской деревушке нет ни одного кочевника. На границе двух народностей всегда же есть переходные типы. Но тут только русские и карелы. И тем загадочнее кажется этот мой путь через горную Лапландию. В Кандалакше ни одного лопаря, ни одного оленя. Кажется, я в дверях панорамы: за спиной улицы, но вот я сейчас возьму билет, подойду к стеклу и увижу совсем другой, не похожий на наш, мир.

Хозяин-помор помогает мне набивать патроны на куропаток и глухарей. Несколько штук мы заряжаем пулями на случай встречи с медведем и диким оленем.

РЕКА НИВА

13 июня

Из недр Лапландии, из большого горного озера Имандры в Кандалакшу сплошным водопадом в тридцать верст длиною несется река Нива. Путь для пешеходов лежит возле реки в лесу. Другой, строящийся путь для экипажей проходит в стороне от реки. Некоторое время мы с проводником идем по этой второй дороге. Потом я ухожу от него к Ниве поискать там птиц. Мы расстались, и лес обступил меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни был спутник, все-таки он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит... Пустыня говорит...

Хорошо и больно. Хорошо потому, что в этой тишине ожидаешь такую светлую, чистую правду. И больно потому, что внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверки.

Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одно не бежит от другого.

Так я иду и, наконец, слышу шум, будто от поезда; невольно ожидаю, что свисток прорежет тишину. Это Нива шумит. Она является мне в рамке деревьев, в перспективе старых высоких в а р а к (холмов). Она мне кажется диким, странным ребенком, который почему-то жжет себе руки, выпускает кровь из жил, прыгает с высоких балконов. «Что с ним сделать, с этим ребенком?» — думают круглые, голые головы старцев у реки. И ползут от одной головы к другой серые мысли, просыпающийся в горах туман.

Я иду возле Нивы в лесу, иногда оглядываюсь назад, когда угадываю, что с какого-нибудь большого камня откроется вид на ряды курящихся холмов и на длинный скат потока, уносящего в Белое море бесчисленные белые кораблики пены.

Комаров нет. Мне столько говорили о них, — и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, как ели и сосны у подножья холмов сговариваются бежать наверх, как они бегут на горы. Вот-вот возьмут приступом гору. Но почему-то неизменно у самой верхушки мельчают, хиреют и все до одной погибают.

Бывает так, что, когда я так стою, вдруг из-под ног вылетает с криком птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крик ее. Но тут, в тишине незнакомого леса, при неровном говоре реки-водопада я слышу в ее крике нето дикий смех, нето предупреждение о беспощадности рока. Я стреляю в это желто-белое пятно, как в сказочную колдунью, и часто убиваю.

Иду все вперед и вперед. Тишина леса и беснование Нивы в ожидании взлета птиц, похожих на лапландских чародеев, — все это придумано для меня. От всего этого во мне будто натягивается струна, выше и выше, и вот уже нет звуков: ноги и тело, вероятно, идут, но сам я где-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но сам не знаю — где. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное в лесу существо человека. Но это невозможно.

Вдруг со страшным треском прямо из-под моих ног вылетает глухарь, и сейчас же — другой.

Эта птица для меня всегда была загадочной и недоступной. Раз, давно, я помню ночь в лесу в ожидании этого царя северных лесов. Помню, как, в ожидании песни, просыпались болота, сосны, и как потом в низине, на маленьком чахлом деревце птица веером раскинула хвост, будто боролась за темную ночь в ожидании восходящего солнца. Я подошел к ней близко, почти по грудь в холодной весенней воде. Что-то помешало, и птица улетела. С тех пор я больше не видел глухаря, но сохранил о нем воспоминание, как о каком-то одиноком, таинственном гении ночи. Теперь две громадные птицы взлетели из-под ног при полном солнечном свете. Я прихожу в себя только после того, как птицы исчезают за поворотом реки, у высокой сосны. Они

там, вероятно, сели на траву; успокоятся немного и выйдут к реке пить воду.

Вот тут, только тут и происходит наконец то таинственное переселение меня за тысячелетия назад. Этот момент неуловим. Неизвестно, когда он наступит. Это мгновение — будто сноп зеленого света, целый поток огромных исцеляющих сил. Это переселение внутрь природы, внутрь того мира, о котором культурный человек стонет и плачет. Мне кажется, что так же должен чувствовать себя убежавший из клетки зверь. Подбежит к лесу, остановится, задумается и пустится в чащу.

Я — зверь, у меня все приметы зверя. Изгибаюсь, перескакиваю с кочки на кочку, зорко гляжу на сухие сучки под ногами. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я чувствую во рту почему-то вкус хвои, запах ее и запах сосновой коры. И неловкость в локтях. Почему? Да вот почему? Сосны куда-то исчезли, и я уже не иду, а ползу по каким-то колючим и острым препятствиям к намеченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье вперед, взвожу курок и медленно поднимаю голову.

Реки нет, птиц нет, леса нет, но зато перед глазами такой покой, такой отдых! Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то. Я не говорю себе: «Это Имандра, горное озеро». Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу.

Имандра — это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто, и все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе.

Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную Похиолу с прекрасной стороны.

На берегу с песка поднимается струйка дыма. Возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди: звери не разводят же огня. Это люди; они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступая по мягкому песку. Вижу ясно: котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно,

лопари; но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется: если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду.

— Здравствуйте!

Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка.

Я разглядываю их: маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным, острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу, и двое мужчин, такие же, как русские поморы.

— Здравствуйте!

Мне отвечают на чистом русском языке.

— Да вы русские?

— Нет, мы лопари.

— А рыбки можно у вас достать?

— Рыбка будет.

Старик встает. Он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины, повыше ростом, но также с кривыми ногами.

Идут ловить рыбу. Я — за ними.

Такой прозрачной воды я никогда не видал. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, как лед. Всего две недели, говорят мне, как Имандра освободилась от льда. Холодная вода и потому, что с гор, — налево горы Чуна-тундра, направо чуть видны Хибинские, — непрерывно все лето стекает тающий снег.

Мы скользим на лодке по прозрачной воде в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить.

— Какая погодка хорошая!

— Да, погоды хорошие.

И опять молчат. Хорошая погода, но какая-то странная. Словно это первый день после потопа, когда только начала сбывать вода. Вся грешная земля, там внизу, залита водой; остались только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. И смертную тишину насквозь пронизали лучи вечного солнца. Наш ковчег скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор. Хорошо бы теперь выпустить

голубя! Быть может, он принесет зеленую ветвь. Нет, еще рано: все это скрыто там, в глубине прозрачной воды.

Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленый светящийся листик и начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше, в глубине она светится изумрудным светом и не исчезает; ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда наверх, в страну незаходящего солнца.

Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь...

— Поуч-поуч! — вдруг говорит старик гребцу.

— Что это значит?

— Это значит: поскорей ехать.

И сейчас же еще:

— Сег, сег!

Это значит: ехать тише.

Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один лопарь гребет, а другой выбирает веревку с крючками и все приговаривает свое: «Поуч-поуч! Сег-сег!»

В этом горном озере за полярным кругом должна водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь с нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту.

— Поуч-поуч! — кричу я радостно.

Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой «наживки» на крючке.

— Сег-сег! — печалуюсь я.

И опять все смеются. Теперь я понимаю, в чем дело, принимаю команду на себя и повторяю: «Поуч-поуч! Сег-сег!»

Лопари радуются, как дети, верно, им скучно молчать на этом пустынном озере. Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристых больших рыб.

Голец — род форели, обитатель полярных вод. Кумжа — почти такая же, как семга. Палия... Все редкие, дорогие рыбы.

— А как эта называется... Сиг?

Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас.

— Поуч-поуч, — говорю я.

Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает себе пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет. Что бы это значило?

Лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает внизу, как светлая изумрудная бабочка. Что бы это значило? Вот она, Похиола, страна чародеев и карликов. Начинается!

Только после двух-трех десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения. Покончив с осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра.

Подъезжаем. Те же самые люди, в совершенно таких же позах сидят, не шевелятся: даже котелок попрежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых два часа? Осматриваю: у девушки на коленях нет рыбы. Значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, попрежнему смотрят на пустынную Имандру.

— Поуч-поуч! — приветствую я их.

Все смеются. Как просто острить в Лапландии!

Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она жизнь с котелком у костра! Вот она, дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре, в ожидании ухи из форели!

Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок. Но какой эффект! Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка с кривым ножом чистит для меня рыбу, все попрежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная, невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю: «Поуч».

Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии, на берегу Имандры.

Если не забыть с собою лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусна. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:

— Волочи, волочи, ешь!

8 августа 1933 года

Я узнал издали Ниву по характерным в а р а к а м (холмам) на ее берегах и вскоре совсем близко от полотна Мурманской железной дороги увидел глубоко взрытую землю и людей там бесчисленное множество. Похоже было, что эти каналармейцы ведут свою траншею, подкрадываются тихой сапой, чтобы вдруг застать, схватить и заключить на вековечную работу эту безумно своевольную реку. Чисто ребяческое чувство охватило меня, было и страшно, и жалко, и в то же время до крайности любопытно посмотреть и понять, как же это все-таки делается. Мало-помалу любознательность совершенно переселила старую романтику пустынь. Мы вошли в большой поселок из новых стандартных деревянных домов, целый городок, сооруженный только для того, чтобы овладеть рекой и заставить ее давать электрическую энергию для переработки апатитных и нефелиновых руд в Хибиногорске. Не успели мы разложить на места свои вещи, как вдруг весь наш домик вздрогнул, и стекла задребезжали от сильного взрыва. И так — на целый час, совершенно так же, как бывает на войне ураганный огонь. И это было действительно сражение каналармейцев со скалами, и оно само собой наводило мысль на общеизвестную мечту о том времени, когда энергия войны будет обращена в сторону переустройства работы сил природы на пользу человека. Сколько раз даже подсчитывали средства, истраченные на последнюю войну, достаточные, чтобы, например, Англию превратить в сплошной ц в е т у щ и й сад. Я хорошо помню из своего детства, что взрослые об этом читали в «Русских ведомостях», и меня поражало это, что сад будет сплошной и вечно цветущий.

Мы начали осмотр Нивостроя с Пин-озера, которое является огромным плесом бурной реки по пути ее пробега от Имандры до Кандалакши. И там, возле Имандры и Кандалакши, тоже будут электростанции Нивостроя, но все же началось со средины реки у Пин-озера. Оказалось на деле не так страшно, как подсказывало воображение: для электростанции будет взята не вся река, а только незначительная ее часть в четыре километра.

Пин-озеро является для гидроэлектростанции громадным резервуаром воды. В том месте, где Нива вытекает из озера, построена водосливная плотина с тремя шандорами и скользящим крылом, предохраняющим от размывания. Плотина пропускает воды по 750 кубометров в секунду. При закрытых шандорах вода бросается в канал, а от Нивы, на всем протяжении ее от Пин-озера до турбин, четыре километра, остается только кривая лента белых камней. Начиная от Пин-озера с его головным сооружением при выходе из него Нивы, мы прошли пешком весь деривационный канал, то подступающий очень близко к реке, то отходящий ближе к железной дороге. Эта кривая канала является такой же необходимостью, как кривизна русла реки — естественной: она высчитана математически и должна быть именно такой для спокойного и полезного хода воды. Благодаря точности вычисления кривой вода в канале получает необходимую скорость в 550 метров в секунду. На всем протяжении канала вода опускается постепенно на 12,5 метров и, достигнув в конце канала водосбрасывающей плотины, падает отвесно, с высоты 12,5 метров, вниз на турбины, приводя их в движение.

Проходя берегом канала, почти готового, местами уже и забетонированного, мы видели все работы, в значительной степени уже механизированные. Видели мы бремсберги, или механические лебедки для вывоза из канала грунта, экскаваторы, деррики, перфораторы, центробежные насосы для откачивания воды, дунглеры для бетонирования, камнедробилку, а на дне канала проходили железная дорога и автотранспорт. Бросалось в глаза разное положение рабочих: один сидит на экскаваторе и, как бы играя ручкой машины, распоряжается громадной силой, другой — обыкновенной железной лопатой выгоняет свои кубометры; один без всяких усилий, посредством перфоратора высверливает одну

за другой глубокие дыры в скалах для аммонала, другой наколачивает по железке молотком и тоже мало-по-малу углубляется. Нам объяснили, что перфораторов нехватает для всех, и не мешает использовать и чисто ручной труд заключенного, специалиста по горному делу.

Пройдя весь деривационный канал от Пин-озера до турбины, мы осмотрели кухни, столовые, управление, бараки, музеи и задержались в клубе у стенных газет, выискивая себе в них материал для описания. Мы обратили здесь внимание на вывешенное приглашение товарищей, согласно распоряжению начальника Гулага, воздерживаться в официальных местах, клубах, конторах от пользования блатным языком. Замечательно, что тут же, рядом с этим распоряжением, висела грозная филиппика в отношении всех филонов, ляпардов и шакалов. Мы указали на типично блатное слово филон (значит: лентяй). Но нам почтительно разъяснили, что мы глубоко ошибаемся, что филон есть чисто русское слово, собранное из начальных букв: «ф-альшивый и-нвалид л-агерей о-собого н-азначения». Что же касается ляпардов, то как же иначе назвать человекообразное существо, которое отправилось в лес, село на пень и, сделав необходимое, примерзло так крепко, что его потом пришлось освобождать посредством кипятка и потом больше месяца невозможно было пустить на работы.

— Какой же это ляпард! — воскликнул один знаток блатного языка. — Это просто филон. А ляпарды или шакалы не станут сами себя работой уродовать; это хищники, но если захотят, то народ они трудовой и могучий.

Из последующих рассказов о бракоделах, филонах, шакалах и ляпардах мы много узнали необыкновенного из нравов людей, подлежащих трудовой обработке. К вечеру возле арки с надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства», мы обратили внимание на жестокий спор выходящей на работу бригады заключенных со стрелками. Сопровождавший нас начальник поспешил разобрать это дело. И оказалось, что одна бригада, считая себя вполне достойной доверия, требовала устранения от себя конвоя. Начальник, разобрав дело, стал на сторону заключенных и приказал стрелкам удалиться.

ПО ИМАНДРЕ

Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман, и до последнего времени — рыбаки-покрученники из Поморья.

Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотою на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбною ловлей в озерах и немного оленеводством.

Чтобы узнать хоть сколько-нибудь местную жизнь, нужно непременно отклониться от традиций путеводителя, нужно создать себе не предусмотренные там препятствия и победить их. Это мое правило.

«Как бы провести тут время по-своему? Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой... Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже...»

Мы долго совещаемся об этом со стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и мы можем напрасно потерять неделю. Мало-по-малу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.

Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству? Лишний проводник стоит денег. Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять его с собой.

— Денег, — говорит он, — можно и не взять, а вместе веселее.

Как это странно звучит! Вот уже сколько я еду и ни разу не слыхал этого... Приглядываюсь к старику, ищу русскую хитрецу. Ничего нет... Какое-то легкомысленно-мечтательное выражение, будто и не старик.

Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины — старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха — еврейка, а дочь — японка: маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят, и смотрят долго, пока не устанут, и снова моргнут. На голове у нее лапландский «шамшир», похожий на шлем Афины-Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это — дочь Похиолы, за которой шли сюда герои Калевалы.

Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.

— Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?

— Набрала в ручье, — отвечает за нее отец. — У нас есть жемчужины по сто рублей штука.

— И платят?

— Нет, не платят, а только так говорят.

— Какой прекрасный жемчуг! — говорю я девушке, похожей на дочь Похиолы. — Как вы его достаете?

Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.

Развертываю: несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листок из записной книжки и подаю обратно.

— Благодарю. Хороший жемчуг.

— Не надо... тебе.

— Как!

Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок

и, выждав некоторое время, service pour service предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой. Василий тоже. Имандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду; я — с одной стороны, а дочь Похиолы — с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься.

Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь, беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой вараке на берегу, то о впадине со снегами на горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно; но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера.

Мне некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бечеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать; нужно держать ружье наготове: мало ли что может выйти из леса к воде!

Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение: говорят шопотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега.

Дикий олень!

Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движение белой точки. Немного поближе — и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной (ручной) олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень,— по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже

подступает к берегу. Еще поближе — и все смеются, радуются: олень свой собственный. Мы превзошли Тартарена из Тараскона. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля (олений мох). Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.

Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю. Но вдруг он поворачивается своим маленьким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.

— Комар обижает! — говорит Василий. — Попил воды и опять бежит наверх, в тундры.

Это происходит где-то около Белой губы Имандры.

Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.

Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю саженей на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается. Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям:

— Стойте, стойте, зацепилось, оборвалось!

— Рыба, рыба, подтягивай! — отвечают они.

Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется; очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась.

Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной.

Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.

— Кумжа, кумжа! — говорят лопари. — Мотай.

И вот опять, как в начале пути при виде глухарей, мое *я* целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях.

Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой, и секунда — тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.

Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.

Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят — полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.

— А что лучше, — спрашиваю я, — кумжа или семга?

— Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга — семга и есть. Ты скажи — кумжа и сиг, вот так...

Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу.

— Какая это рыба?

— Это сиг, — говорит он и тускнеет. — Сиг не может на крючок пойматься, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. А за ним и мать...

— Потонула?

— Нет, так померла.

Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь. Вероятно — жертва водяному.

— Есть водяной царь или нет? — спрашиваю я окольным путем.

— Водяной царь! Как же, есть... Ведь молимся же мы: «царь небесный, царь земной».

— И водяной?

— Нет, водяного нет в молитвах, а только есть же царь небесный, царь земной, значит есть и водяной.

Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях; он сказывается убежденным христианином.

Но где-то и до сих пор, — рассказывает Василий, — верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей. Есть гора, где живет нойд (колдун), и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет... Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой! Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь, и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чудь...

Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чудь.

Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей и, сев на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.

Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.

ОЛЕНИЙ ОСТРОВ

15 июня

Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках!

Выхожу на берег, но меня встречает туча комаров и мошек. Бегом, скорей найти птицу — и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.

Обогнув остров, мы подъезжаем наконец к тому месту, где должна быть в е ж а (лапландское жилище). Я замечаю их две: одна — маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая — повыше и подлиннее.

— Одна, — говорит Василий, — для людей, а другая — для оленей. Какая побольше — для оленей, потому и олень побольше человека.

Теперь комары нас преследуют и на воде: кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку. Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, уничтожая сотни на своем лице. Я не имею мужества достать на дне моей котомки сетку, «накомарник», которым запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.

А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня прибавляется решето новых, а после Ильина убавляется — и тоже по одному решету за комара.

Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже; открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки-рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий: кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать.

Человеческая вежа — маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленьими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.

Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу; между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре; я усаживаюсь, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров и дыма.

Потом начинаю разглядывать.

Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только неудобно сознавать, что нельзя встать и необходимо сидеть.

С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей; там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это — то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.

Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Выспрашиваю названия одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие лопари.

— Почему вас называют к о ч у ю щ и е? — спрашиваю я их.

— А вот потому кочующие, — говорят мне, — что один живет у камня, другой — у Ягельного бора, третий — у Железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день — переселится на озеро, в половине сентября — опять к речкам. Около рождества — в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от

комара подвигается к океану. Лопарь — за ним. Так уж нам бог показал, — он правит, он создатель.

Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут ненастоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.

Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.

Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом — оленьим самцом. В то время года у диких оленей «рекха», особенная жизнь; олень (ирвас) становится страшным зверем: шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо в а ж е н о к, стережет их и не допускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. Чуть только он слабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.

Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, заняты своим делом. Одна сидит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет к а н ь г и (башмаки), третья следит за огнем.

Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня: какова моя жизнь? Но как о ней спросить — этого никто не смеет. У них — охота, олени, лес. Что у меня?

— А есть ли в других державах лес? — слышу я голос с той стороны костра.

— Есть.

— На ужь!

Общий знак удивления, что и у нас есть лес.

Потом другой вопрос: «Есть ли горы?» И опять то же: «На ужь!» Потом разговор, совсем как и в настоящих гостиных, пе-

реходит на политику. Знают о Государственной думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь: русские, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, начиная со времени появления здесь новгородских дружинников, представляют лопарей в Думе! Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбрать.

— Пили вы при этом? — спрашиваю я. — Угощали вас?

— Пили, как же. Хорошо выпили, — отвечает Василий со своим легкомысленным видом. — А вот если бы меня выбрали, — продолжает он, — я бы тихонечко на ушко шепнул бы кому надо, как лопари живут.

— Что бы ты шепнул ему?

— А что вот у нас в озере сигов много: коптить бы их на казенный счет и отправлять в Питер... Да, я бы сумел, что шепнуть!

«Что бы им дать? — думал я, представляя себя на месте царя, которому шепнул лопарь на ушко. — Христианскую проповедь? Но это уже использовано... Лопари — теперь христиане. Печенгский монастырь богател и разорялся и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, и еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю цивилизации? Построить железную дорогу и дать образование? Как-то жалко без дикого народа в государстве. Кто знает, может быть, как поправку бездушной цивилизации, государству необходимо сохранить кочующий народ, навести там справку, в случае чего».

Я вспоминаю о грандиозном предприятии соединить Великий океан с Северным Ледовитым, Порт-Артур — с Александровском, и о том, что тут предполагалась железная дорога. Но ведь это не для них. Причем тут лопари?

— А как же! — говорит мне Василий. — И лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами.

Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности; смеются и другие, даже женщины; радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин: убиты за раз два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет.

— А выучить лопаря, — замечает кто-то, — он тоже будет таким.

— Каким? — спрашиваю я.

В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре.

Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали; он стал доктором, и есть слух, что где-то хорошо лечит людей.

— Вот и лопарь, — заканчивает рассказчик, — а сделался доктором.

Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод.

А я — несомненная частица этого мира!

Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать?

Что у нас лучше всего? Конечно, звездная летняя ночь.

— У нас, — говорю, — после дня теперь наступает ночь, темная. Зимой же у нас бывает тоже и день и ночь.

Смотрю на часы и говорю еще:

— Сейчас у нас, если погода хорошая, то звезды горят, месяц светит.

Мои слова производят большой эффект. Женщины интересуются: одной, не понимающей по-русски, переводят мои слова.

Теперь уже вся гостиная занята мной. Все меня теперь долго и подробно разглядывают. Это тот период сближения гостей с хозяевами в провинциальной семье, когда женщины вступают в беседу, когда дети осмеливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинает беседу:

— Есть у тебя деточки?

— Есть.

— Но! — не доверяет она.

Я подтверждаю и даже описываю, какие они.

— На ужь! — удивляется старуха и переводит своей, не понимающей по-русски соседке.

Все теперь говорят по-лапландски. Мне кажется, что они говорят о том, что вот как это удивительно: такой необыкновенный человек, а тоже может, как и они, как и всякие животные, размножаться.

— Что же тут особенного? — вмешиваюсь я, наконец, в непонятный мне разговор. — Вероятно, здесь русские даже женятся на лапландках.

— Нет, нет! — отвечают мне все в один голос. — Какой же русский возьмет лопку! Одно слово, что лопка!

Это совершенно противоположно тому, что я слышал. У меня, наконец, в кармане письмо от одного священника, прожившего двадцать лет в Лапландии, к сыну, женатому на лопарке. На письме даже адрес: «Потомственному почетному гражданину К—у».

— Как же так?.. Вот... — говорю я и называю фамилию.

— Так это лопарь. Какой же он русский? — отвечают мне.

— Почетный гражданин, сын священника.

— Это все равно, он лопарь: рыбку ловит, оленей пасет.

Я теперь понимаю: моя сверхъестественность основана не на внешнем виде, не на костюме, не на образовании, а просто на неизвестных для них занятиях, противоположных их делу. Мне это становится еще более понятным, когда такими же сверхъестественными людьми оказываются и один отставной шкипер, и один мелкий телеграфный чиновник. Оба — претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невесту мне рассказывали еще на Белом море. Она — дочь богатого лопаря. Живут они в тундре, пасут большое стадо оленей. Отец подыскивает дочке жениха такого же, как она, лопаря, потому что одному трудно управляться с большим стадом оленей. Тут ему пришлось вместе с дочерью довольно долго быть в Архангельске для продажи оленей. И в это время единственная и любимая дочь лопаря сразу влюбилась в двух русских — в шкипера и в телеграфного чиновника. Были и еще претенденты, — тысяча оленей стоит десять тысяч рублей, — но она полюбила только двух. Едва-едва отец увез ее. Теперь плачет, тоскует в тундре, еле жива.

— Ну, мыслимое ли дело лопке замуж за русского выходить? — заговорили все после рассказа, и решительно все согласились.

Разговор о романе в тундре, такой увлекательный для женщин и для меня! Мне хорошо здесь, и будто я не в лопарской семье — в пустыне, а где-нибудь в большом незнакомом городе, в единственном знакомом милом доме. Хозяйка забывает о глухаре. Но он неожиданно напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь; вода бежит, шипит. Глухарь поспел. Это напоминает мне, что в котомке у меня для лопарей припасена водка, и лопари — большие охотники до нее.

— Пьете водку?

— Нет, не пьем.

А глаза просят. Я наливаю стаканчик и подношу, как меня учили, сначала хозяйке. Секунду колеблется для приличия, потом берет рюмку, приветствует меня словами: «Ну, пожелаю быть здоровым», и торжественно выпивает. За ней подряд выпивают все мужчины, и все с одинаковой торжественной миной приветствуют меня: «Ну, пожелаю быть здоровым». Доходит очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, как она мучится, колеблется и с отвращением выпивает глоток. Стаканчик совершает еще оборот вокруг костра и опять останавливается у японки. Она умоляет меня глазами; то же и мать.

— Значит, не надо? — спрашиваю я.

— Нельзя! — говорит старуха. — Надо выпить: от гостя руки нельзя не принять.

— Вот какой странный обычай! Я не знал. Извини.

— Может быть, и вам не надо? — спрашиваю я почтенную мать.

— Нет, нам надо, — отвечает она и, пожелав мне быть здоровым, выпивает и за дочь и за себя. Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, — кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается: ее строгое, окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются.

— Ау-уа-уы-кыть! Аа-уы-уа-кыть!

Я понимаю: это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню: скорее это что-то в чайнике или в котелке учит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху.

— Уа-уы...

Песня оканчивается неожиданным восклицанием: «Кашкарары!» Что бы это значило? Василий охотно переводит:

— Мимо еретицы едет Иван Иванович...

— Как, неужели же и у вас есть Иван Иванович? — сомневаюсь я в верности перевода.

— Везде есть Иван Иванович, —отвечает Василий. — Евван-Евван-ыльт значит — Иван Иванович. — И продолжает: — Едет Иван Иванович мимо еретицы, мимо страшной еретицы, в Кандалакшу и думает, что она не выскочит. Плывет Иван Иванович, ногами правит, руками гребет, миленькой чулочки везет, белые чулочки, варежки с узорами. А еретица как выскочит и закричит: «Иван Иванович, Иван Иванович каш-киш-карары!»

— Что же с Иваном Ивановичем стало?

— Ничего. На этом песня кончается.

После домашнего концерта доска очищается от пищи, и на ней появляется засаленная колода карт. Сдают всем по пяти.

— Не «дурачки» ли это?

— «Дурачки».

— Так сдавайте же и мне!

Мне с удовольствием сдают; я играю рассеянно и остаюсь дураком. Такого эффекта, такого взрыва смеха я давно-давно не слыхал. Смеется Василий, смеются женщины, смеются все лопари, а старуха долго не может сдать карт; только начнет, посмотрит на меня и ляжет вместе с картами на доску. Удивительное счастье остаться дурачком в Лапландии! Вообще им быть нехорошо... но тут! Я пытаюсь еще раз остаться, но ничего не выходит, и, сколько я потом ни стараюсь, все не могу, всё находится кто-нибудь глупее меня.

За игрой в «дурачки» забываю о главном своем интересе в Лапландии: увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи.

— Дождь, — говорю я. — Опять не видать мне полуночного солнца!

— Дождь, дождь! — отвечают лопари. — Скорей кувакс у строить!

Кувакса — это особая походная вежа, палатка. Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обе-

щал, что спать я на острове буду лучше, чем дома, и он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу.

Через несколько минут палатка готова, — маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. Какой-то странный запах, похожий на запах нето курительной бумаги, нето угара, нето тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым есть глаза. Вскакиваю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю: это сюрприз Василия, это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары? Дождь... Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу.

Они заполняют весь треугольник между моей, лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят и один за другим исчезают в лесу. Теперь я выставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанят капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из лопарской вежи. Все еще играют в «дурачки».

Общее мнение местных людей, что этот народ вырождается, вымирает. Ученые спорят. По этому детскому смеху мне кажется, что они непременно должны вырождаться, вымирать. Так не смеются взрослые люди, а дети разве могут бороться? Пройдет еще сколько-то лет, и здесь не останется ни одного лапландца.

Где-то я читал, что лопари должны исчезнуть с лица земли бесследно, что их жалкую жизнь не возьмется воспеть ни один поэт, что «последний из могикан» невозможен в Лапландии. И так странно думать, что вот почти на краю света эти, забытые всем миром люди могут смеяться таким невинным, детским смехом. Непременно государственным людям нужно позаботиться об охране кочующего народа. И пусть потом, когда люди в городах разучатся смеяться, кочующие люди их станут учить.

ХИБИНСКИЕ ГОРЫ

— Вставайте! — бужу я лопарей. — Вставайте!

Но они спят, как убитые, все в одной веже.

В ответ мне из-под склонившихся к земле лап ближайшей ели показывается лысая голова карлика.

— Василий, это ты? Как ты здесь?

Старик спал ночь под еловым шатром. Там сухо, совсем как в веже. Лапландские ели часто имеют форму вежи. Вероятно, они опускают вниз свои лапы для лучшей защиты от холодных океанских ветров.

Пока разводят костер, греют чайник и варят уху, закусывают, собираются, — проходит много времени; наступает уже день, начинают кусать комары; возвращаются олени; солнце греет. Но и день здесь не настоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает даже слишком ярко, но холодно и остро, и зелень эта какая-то слишком густая, неестественная. День не настоящий, а какой-то хрустальный. Эти черные горы — будто старые окаменелые звери. На Имандре вообще много таких каменных зверей. Вот высунулся из воды морж, тюлень, вот растянулся по пути нашей лодки большой черный кит.

— Волса-Кедеть! — показывает на него лопарь и прислушивается.

Все тоже, как и он, поднимают весла и слушают. Булькают удары капель с весел о воду, и еще какой-то неровный плеск у камня, похожего на кита. Это легкий прибой перекатывает белую пену через гладкую спину «кита», и оттого этот неровный шум, и так ярко блестит мокрый камень на солнце.

— Волса-Кедеть шумит! — говорит Василий.

Меня раздражает эта медлительность лопарей; хочется ехать скорее. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно дви-

жет вперед. Лопари меня раздражают своим равнодушием к моему стремлению.

— Ну, так что же такое! — отвечаю я Василию. — Шумит и шумит.

— Да ничего... Так... шумит. Бывает перед погодой, бывает так.

Ему хочется мне что-то рассказать.

— Волса-Кедеть значит — кит-камень. Отцы говорят — это колдун...

И рассказывает предание:

— Возле Имандры сошлись два колдуна и заспорили. Один говорит: «Можешь ты зверем обернуться?» Другой отвечает: «Зверем я не могу обернуться, а нырну китом, и ты не увидишь меня, уйду в лес». Обернулся — и в воду. Немного не доплыл до берега и показал спину. Колдун на берегу видал, крикнул. Тот и окаменел.

Такое предание о ките.

— А вот этот морж? — спрашиваю я.

— Нет, это камень.

— А птица?

— Тоже так... камень. Вот у Кольской губы — там есть люди окаменелые. Колдунья тащила по океану остров, хотела запереть им Кольскую губу. А кто-то увидал и крикнул. Остров остановился: колдунья окаменела, и все люди в погосте окаменели...

Мы едем ближе к горам. Мне кажется, что если хорошенько крикнуть теперь, то и мы, как горы, непременно окаменеем. Я изо всей силы кричу. Горы отзываются. Лопари с поднятыми вверх веслами каменеют и слушают эхо.

Подшутить бы над ними? У ног моих на дне лодки большой камень-якорь с веревкой. Беру этот камень и прямо возле девушки бросаю его в Имандру. Бух!

Я не сразу понял, в чем дело. Вижу только — девушка стоит рядом, она схватилась за нож, но ее удержали. В воде плавали весла.

Лапландка от испуга пустила в меня веслом, промахнулась, хотела зарезать, но ее удержали, и теперь с ней истерика.

— Наших женок, — укоризненно говорит мне Василий, — нельзя пугать. Наши женки пугливые. Могла бы и беда быть...

Немного спустя девушка приходит в себя, а лопари, как ни в чем не бывало, смеются. И просто, как анекдот, рассказывают мне такой случай:

— Русский солдат вошел в пырт. Дома никого не было, только женка сидела с ребенком у камелька. Солдат тоже присел и стал смотреть в огонь. Служивому захотелось пошутить с женкой, — показал ей пальцами на язык пламени в камельке и громко крикнул: «Куропать!» Лапландка бросила ребенка в огонь и с ножом накинулась на солдата. Пока этот увертывался от ударов и успел схватить ее, ребенок сгорел совершенно.

И еще был случай, рассказывает старуха... И вот еще... А вот в Ловозерском погосте... А вот в Кильдинском... Мне рассказывают множество таких случаев и все приговаривают: «Наши женки пугливые».

— Отчего это? — спрашиваю я.

— Неизвестно.

После всех этих рассказов мне не хотелось больше шуметь и кричать. Мне кажется, что если я теперь крикну еще раз, что все эти окаменевшие звери, рыбы и птицы испугаются, проснутся, и от этого будет что-то такое, от чего сейчас страшно, но что — это неизвестно.

— В горах, — говорит Василий, — есть озера где лопарь не посмеет слова сказать и веслом стукнуть. Вот там есть такое озеро: «Вард-озеро».

Он показал рукой на мрачное ущелье Им-Егор. Это ущелье — расселина в горах, вход внутрь этой огромной каменной крепости Хибинских гор.

Туда мы и отправимся завтра на охоту за дикими оленями, но сегодня мы заедем в Белую губу. Там живут лопари в пыртах; живет телеграфный чиновник, у которого можно достать масла и хлеба.

У подножия мрачных Хибинских гор, на которые похожа декорация в дантовом Аду, возле Имандры живет маленький чиновник. Он похож на крошечный винтик от часового механизма: так высоки горы, и так он мал.

Судьба его закинула сюда, в эту мрачную страну, и он поко-

рился и стал жить. Он имеет какое-то отношение к предполагавшейся здесь железной дороге, к этому грандиозному плану соединения Великого океана с Ледовитым. План давно рухнул наверху. Но внизу дело по инерции продолжается, и винтик сидит на своем месте.

В своем путешествии я боюсь местных людей и особенно чиновников. Они все заинтересованы лично в этой жизни и смотрят на нее из своего маленького окошечка, то обиженные и раздраженные, то самодовольные и самоуверенные. Все они глубоко убеждены, что мы, сторонние люди, ничего не видим, и, чтобы видеть, нужно, как они, завинтиться на десятки лет.

Я читал где-то, что все путешественники считают лопарей взрослыми детьми — простодушными, доверчивыми, а все местные люди — лукавыми и злыми. Почему это?

Если бы я был ученый, я считался бы со взглядами тех и других, но я не ученый, не имею специальных целей и больше всего дорожу лишь правдой своих настроений.

Я иду к чиновнику за мукой и маслом и побаиваюсь его, потому что ревниво оберегаю свой собственный независимый взгляд, добытый из одинокого общения с природой и лопарями. Оберегаю от расхищения все это милое мне путешествие, о котором мечтал еще ребенком.

Мы говорили с чиновником о масле и хлебе, потом о картофеле, который этот человек пробует развести. И как-то сама собой заходит речь о лопарях.

— Это дикие, тупые, жестокие и злые люди, — говорит он мне, — это выродки и скоро вымрут.

— Да ведь это не доказано, — пробую защитить я, — может быть, и не вымирают.

— Нет, вымирают, — отвечал он, — Вырождаются.

Спорить нельзя: он лучше знает.

Он долго бранит лопарей и жалуется на то, как тут трудно жить культурному человеку зимой, когда солнце даже не восходит. Тьма, из-под полу дует... Жутко!

Я чувствую себя так, будто никуда не ездил, и от скуки сужу и пересуживаю с кем-то лопарей. Смутно даже чувствую себя неправым перед этим винтиком: ведь его завинтили насильно.

И я спасся от этого только потому, что добрая бабушка испекла для меня волшебный колобок. Выхожу на воздух; меня встречает горящая гладь спокойного горного озера.

Сосну часок и буду следить за всем, что случится этой загадочной солнечной ночью.

Станционная изба устроена по типу лопарского пырта. В ней есть камелек, лавки, окна. Лопари к моему приезду все собрались в избу и сидят теперь на лавках в ожидании меня. В избе дым. Это от комаров: хотят их убить. Я ложусь на лавку, хочу остаться один. Но они все, человек десять, молча рассматривают меня, чего-то ждут. Я не решаюсь попросить их выйти и ложусь, надеясь, что они поймут. Но они не понимают и смотрят и смотрят... Мне хочется им сказать, крикнуть, но я не могу и лежу, смотрю на них, они — на меня. Путешествие мое обрывается.

Как и зачем я попал в Лапландию? Эти люди такие же грубые и обыкновенные, как наши мужики. Наши пасут коров, а эти — оленей. Какие это охотники? Но у нас-то ночь теперь. Как хорошо там! Я теперь дома: темно, совсем темно. Но почему это кто-то неустанно требует открыть глаза? — Не открою, не открою! — И не надо открывать, а только чуть подними ресницу, увидишь, как хороша наша ночь! — Я открываю глаза. Вся Имандра в огне. Солнце. И ночь, которая мне грезилась, как большая черная птица с огненными перьями, улетает через озеро на юг.

Лопарей нет. Дым разошелся. Комары мертвые валяются на подоконнике.

Только десять вечера, но горы уже спят, закрылись белыми одеялами. Имандра горит, разгорается румянцем во сне, и близится время волшебных видений в стране полуночного солнца. Что грезится теперь этим горам? Да, конечно, они и видят вот то, что я сейчас вижу, — это все сон.

На озере человек в челноке. Чего-то ждет. Он первый здесь. А вот и деревья и горы подступают к тихому озеру. Звери вышли из леса, рыбы—из воды. Месяц прислонился у березы. Солнце у окошка замка стало.

Зазвенели струны к а н т е л е. Запел человек.

Пел дела времен минувших, пел вещей происхожденье.

Просыпаюсь... Солнца не видно в мое окошко, так оно высоко поднялось уже. Опять я не видал полуночного солнца. Василий сидит у камелька и отливает в деревянную форму пули на диких оленей. Сегодня мы будем ночевать в горах и охотиться.

В горах есть озеро, к которому лопари питают суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. Нельзя: при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспедиции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего не случилось.

С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много рыбы.

Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невозможно добраться. Василий советует удовлетвориться ущельем Им-Егор — не менее мрачным, но доступным. В этом ущельи мы переночуем, войдем через него внутрь Хибинских гор и по Гольцовой реке вернемся опять к Имандре.

Пока мы набиваем патроны, готовим пищу, собираемся, Имандра уже опять приготовляется встречать вечер и солнечную ночь.

Неужели опять случится что-нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туман, или просто мы не успеем выбраться из леса в горы? Чтобы выбраться из ущелья, нужно часа два ехать на лодке и часа три подниматься в гору. Теперь шесть.

— Скорей, скорей! — тороплю я Василия.

Скользим на лодке по тихому озеру: ни малейшего звука, даже чаек нет. Ущелье видно издали; оно разрезает черную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто — это ворота, вход в эту черную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у подножия гор. Те мертвые, но лес-то живой и все-таки будто мертвый.

Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нем нет того зеленого радостного сердца, о котором тоскует

бродяга, нет птиц, нет травы, нет солнечных пятен, зеленых просветов. Под ногами какие-то мягкие подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мхом могильные плиты.

С нами идут в горы двое лопарей: Василий с сыном; остальные разводят костер у берега Имандры, садятся вокруг костра и начинают играть в карты. Завтра они встретят нас в устьи Гольцовой реки.

Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится еще более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей, играющих в дурачки. Разве тут можно смеяться! Это странный, жуткий смех.

Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; глухарей наверно встретим, сейчас же встретим. Но я даже и не готовлю ружья. Я повторяю давно заученные стихи:

Пройдя полпути своей жизни,
В минуту унынья вступил
Я в девственный лес.

Это вход в дантов Ад. Не знаю, в каком мы кругу.

Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски-жалобно, а воют, как легионы злых духов. Мой маленький Виргилий с кривыми ногами, в кривых башмаках, не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, преследуемые дьяволами дантова Ада.

В чаще иногда бывают просветы; бежит ручей; возле него группа деревьев, похожих на яблони. И нужно подойти вплотную к ним, чтобы понять, в чем дело: это березы здесь так растут, совсем как яблони.

У одного такого ручья мы замечаем тропинку, как раз такую, какие у нас прокладывают богомольцы и другие пешеходы у краев полей. Это оленья тропа. Теперь мы бежим по этой тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Но я совсем не думаю об охоте; мне почему-то кажется, что эту тропу непременно проложили богомольцы, что там, наверху, есть монастырь. Мне при-

ходит в голову опять та солнечная гора, о которой я думал на берегу Белого моря и на Голгофской горе Соловецкого монастыря. Вот она теперь, эта вершина. Как только мы выбежим из леса, тут и будет конец всего, — голые скалы и сияние незаходящего солнца. Я совсем не думаю ни о птицах, ни о зверях. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, куропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам. Как это ни странно, ни поразительно для меня, не видавшего ничего подобного, но, подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в дикого, я навожу ружье на бегущую к нам птицу.

Василий останавливает меня.

— У нее детки: нельзя стрелять, надо пожалеть.

Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет, бьет крыльями по земле. На крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна бежит прямо в лес, а другая — вперед по тропе и оглядывается на нас, будто зовет куда-то. Мы остановимся — она остановится; мы идем — и она катится впереди нас по тропе, как волшебный колобок. Так она выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони, — останавливается, оглядывает нас, кивает головой и исчезает в траве. Обманула, завела нас на какую-то волшебную полянку с настоящей, как и у нас, травой и с яблонями и исчезла.

— Вот она, смотри, вот там пробирается, — смеется Василий.

Я присматриваюсь и вижу, как за убегающей птицей остается след шевелящейся травы.

— Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!

Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о ее детях. Ведь законы, охраняющие дичь, действуют там, где она переводится; их издают не из сострадания к птицам. Когда я убиваю птицу, я не чувствую сострадания. Я чувствую его, когда думаю об этом. Но я не думаю. Разве можно думать об этом? Ведь это же убийство. И не все ли равно — убить птицу одну или с детьми, больше или меньше. Если думать, то нельзя охотиться. Охота есть забвение, возвращение к себе первоначальному, — туда, где начинается золотой век, где та прекрасная страна, куда мы в детстве бежали, и где убивают, не думая

об этом и не чувствуя греха. Откуда у этого дикаря сознание греха? Узнал ли он его от таких праведников, как святой Трифон, или так уж заложена в самом человеке жалость к птенцам? Как-то странно, что охотничий инстинкт во мне начинается такой чистой поэтической любовью к солнцу и зеленым листьям и к людям, похожим на птиц и оленей; и непременно оканчивается, если я ему отдамся вполне, маленьким убийством, каплями крови на невинной жертве. Но откуда эти инстинкты? Не из самой ли природы, от которой далеки даже и лопари?

Под свист комаров я раздумываю о своем непоколебимом, очищающем душу охотничьем инстинкте, а на оленью тропу время от времени выбегают птицы, иногда с большими семьями. Раз даже выскочила из-под елового шатра с гнезда глухарка, встрепанная, растерянная, села в десяти шагах от нас и смотрит, как ни в чем не бывало, будто большая курица.

— Ну, убей! Что же, убей! — показывает мне на нее Василий.

— Так грех, у ней дети...

— Ничего, что ж грех... бывает, и так пройдет: убил и убил.

Лес становится реже и реже, деревья ниже. Мы вступаем в новый круг дантова Ада.

Сзади нас остается т а й б о л а — лесной переход, а впереди — т у н д р а. Это слово мы усвоили себе в ненецком значении: большое, не оттаивающее до дна болото; а лопари им обозначают, напротив, совсем сухое, покрытое оленьим мхом место.

Здесь мы хотим отдохнуть, развести огонь, избавиться немного от воя комаров. Через минуту костер пылает, комары исчезают, и я снимаю сетку. Будто солнце вышло из-за туч, так стало светло. Внизу Имандра, на которой теперь выступает много островов, за ней — горы Ч у н а - т у н д р а с белыми полосами снега, будто ребрами. Внизу лес, а тут тундра, покрытая желто-зеленым ягелем, как залитая лунным светом поляна.

Ягель — сухое растение. Оно растет, чтобы покрыть на несколько вершков скалы, лет десять. И вот этой маленькой березке может быть уже лет двадцать-тридцать. Вот ползет какой-то серый жук; вероятно, он тоже без крови, без соков, тоже не растет. И тишина-тишина. Медленная, чуть тлеющая жизнь. Тут непре-

менно должен бы быть монастырь, непременно должны бы жить монахи. Эта сухая жизнь не возмутит даже и самого строгого аскета. Если и тут он заметит вот эту залетевшую сюда зачем-то бабочку, то можно подняться выше.

Немного дальше начинаются голые черные скалы. Превзойти их никому нельзя. Тут где-то живет смерть, притаилась где-нибудь в тени, слилась со скалами и не показывается, пока здесь постоянный свет. А когда настанет зимняя ночь, выйдет и засверкает полярными огнями.

Святой Трифон спасался на одной из таких гор дальше, ближе к океану.

Он назвал эти горы «северными ребрами».

Отдохнули у костра и идем выше по голым камням. Ущелье Им-Егор теперь уже не кажется прорезом в горах. Это огромные, черные, узкие ворота. Если войти в них, то непременно увидим одного из дантовых зверей...

Еще немного спустя мы внутри ущелья. Дантовой пантеры нет, но зато из снега, — тут много снега и камней, — поднимается олень и пробегает через все ущелье внутрь Хибинских гор. Стрелять мы не решились, потому что от звука может обрушиться одна из неустойчивых призматических колонн.

Мы проходим по плотному слежавшемуся снегу через ущелье, в надежде увидеть оленя по ту сторону, но там лишь необозримое пространство скал, молчаливый окаменевший океан.

Десять вечера.

Мы набрали внизу мха и развели костер, потому что здесь холодно от близости снега. Так мы пробудем ночь, потому что здесь нет ни одного комара, а завтра рано утром двинемся в путь. На небе ни одного облачка. Наконец-то я увижу полуночное солнце! Сейчас солнце высоко, но все-таки есть что-то в блеске Имандры, в тенях гор — вечернее.

А у нас, на юге, последние солнечные лучи малиновыми пятнами горят на стволах деревьев, и тем, кто в поле, хочется поскорей войти в лес, а тем, кто в лесу, — выйти в поле. У нас теперь приостанавливается время, один за другим смолкают соловьи, и черный дрозд последней песней заканчивает зорю. Но

через минуту над прудами закружатся летучие мыши, и начнется новая, особенная ночная жизнь.

Как же здесь? Буду ждать.

Лопари и не думают о солнце, — пьют чай, очень довольны, что могут пить его безгранично: я подарил им целую четвертку.

— Солнце у вас садится? — спрашиваю я их, чтобы и они думали со мной о полуночном солнце.

— Закатается. Вон за ту вараку. Там!

Указывают рукой на Чуна-тундру. Это значит, что они жили внизу, у горы, и не видели за ней незаходящего солнца. В это «комарное время» они не ходят за оленями и не видят в полночь солнца.

Что-то дрогнуло на солнце. Вероятно, погас первый луч. Мне показалось, будто кто-то крикнул за ущельем в горах и потом заплакал, как ребенок.

Что это?

У лопарей есть поверье: если девушка родит в пустыне, то ребенок будет плакать и просить у путников о крещении.

Может быть, этот ребенок и плачет?

А может быть это их божество? У них есть свой плачущий бог. Злой дух настиг девушку в пустыне, овладел ею, и оттого родился бог, который вечно плакал. Может быть, это бог пустыни плачет?

— Что это? Слышите?

— Птица!

Это, вероятно, крикнула в тишине, при красном свете потухающего солнца, полярная куропатка.

После одиннадцати. Один луч потухает за другим. Лопари напились чаю и вот-вот заснут, и я сам борюсь с собою изо всех сил. Нужно непременно заснуть, или произойдет что-то особенное. Нельзя же сознавать себя без времени! Не могу вспомнить, какое сегодня число.

— Какое сегодня число?

— Не знаю.

— А месяц?

— Не знаю.

— Год?

Улыбаются виновато. Не знают. Мир останавливается.

Солнце почти потухло. Я смотрю на него теперь, и глазам вовсе не больно. Большой, красный, мертвый диск. Иногда только шевельнется, взбунтуется живой луч, но сейчас же потухнет, как конвульсия умирающего. На черных скалах всюду я вижу такие же мертвые красные круги.

Лопари смотрят на красный отблеск ружья и говорят на своем языке, спорят.

— О чем вы говорите, о солнце или о ружье?

— О солнце. Говорим, что сей год л е к ш е идет, — может, и устоится?

— А прошлый год?

— Закаталось. Вон за ту в а р а к у.

Будто разумная часть моего существа заснула, и осталась только та, которая может свободно переноситься в пространства, в довременное бытие.

Вон эту огромную черную птицу, которая сейчас пересекает красный диск, я видел где-то. У ней большие перепончатые крылья, большие когти. Вот еще, вот еще. Одна за другой мелькают черные точки. Это не птицы: это время проходит там, внизу, над грешной землей, у людей, окруженных душными лесами. Или это люди бегут один за другим по улице непрерывные, долгие годы? Они бегут по двум протянутым веревочкам вперед-вперед. А я смотрю на них в окошко, вижу, как злой карлик с кривыми ногами хочет выдернуть веревочки. Как жутко смотреть и как страшно! Что-то будет? Люди не могут без этого жить. Вот одна веревочка, вот другая, — и все перемешалось, все столкнулось. Кровь, кровь, кровь...

Это не сон: это блуждание освобожденного духа при красном, как кровь, полуночном солнце. Вот и лопари сидят у костра, не спят, но тоже где-то блуждают.

— Вы не спите?

— Нет.

— Какие это птицы там пролетели по солнцу? Видели вы?

— Это гуси летят к океану.

Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Везде — на озере, на небе, на горах, на стволе ружья — разлита красная кровь. Черные камни и кровь.

Вот если бы нашелся теперь гигантский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки, у подножия скал. Мы бессильны. Нам все видно наверху этой солнечной горы, но мы ничего не можем...

И такая тоска в природе по этому гигантскому человеку.

Нельзя записать, нельзя уловить эти блуждания духа при остановившемся солнце. Мы слабые люди, мы ждем и просим, чтобы засверкал нам луч, чтобы избавил нас от этих минут прозрения.

Вот, я вижу, луч заиграл.

— Видите вы? — спрашиваю я лопарей.

— Нет.

— Но сейчас опять сверкнул, видите?

— Нет.

— Да смотрите же на горы! Смотрите, как они светлеют.

— Горы светлеют. Верно! Вот и заиграло солнышко!

— Теперь давайте, вздремнем часика на два. Хорошо?

— Хорошо, хорошо! Надо заснуть. Тут хорошо, комар не обижает. Поспим, а как солнышко станет на свое место, так и в путь.

После большого озера Имандры до города Колы еще целый ряд узких озер и рек. Мы идем то тайболой, то едем на лодке. Чем ближе к океану, тем климат мягче от теплого морского течения. Я это замечаю по птицам. Внутри Лапландии они сидят на яйцах, а здесь постоянно попадаются с выводками цыплят. Но, может быть, я ошибаюсь в этом и раньше не замечал птенцов, потому что был весь поглощен страстью к охоте. Тут что ни шаг, то выводок куропаток и глухарей; но мы не стреляем и питаемся рыбой. Проходит день, ночь, еще день, еще ночь; солнце не сходит с неба, постоянный день. Чем ближе к океану на север, тем выше останавливается солнце над горизонтом, и тем ярче оно светит в полночь. Возле океана оно и ночью почти такое же, как и днем. Иногда проснешься и долго не пой-

мешь, день теперь или ночь. Летают птицы, порхают бабочки, беспокоится потревоженная лисицей мать-куропатка. Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает время...

И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать. Но ничего не начинается; пустыня покоится, и мертвый глаз вечно стоит над горизонтом, зорко следит, как бы кто-нибудь из мертвых здесь не восстал.

ХИБИНСКАЯ ТУНДРА

Тиетта. Август 1933 года

Знаете ли вы, что называется в геологии цирком? Это бывает в тех местах, где залеживается снег и постепенно тает, посылая вниз потоки. Ручьи эти размывают породу, въедаясь в скалу все глубже и глубже. Так вот и образуются возле потока полукружия, эти цирки с наваленными в них огромными камнями. По таким камням мы поднимались в Хибинах высоко, чтобы там, наверху, посмотреть работу в молибденовых штольнях. Вокруг нас была природа тундровая, переходящая в гольцы. Конечно, всякая высота на горе всюду кончается тундрой и гольцами, но здесь, в Хибинах, не только конец высоты, но и начало было погружено в ту же самую тундру. От этого казалось, будто Хибинами лишь завершается все, и наша богатая природа находится тут же, где-то внизу, если спуститься куда-то под Хибины. Особенно мрачно было Ущелье геологов с его цирком черных камней, остатками прошлогоднего снега и клочками серых туч. Геолог Семеров, известный разведчик вскрытых ныне хибинских великих богатств, рассказывал нам, что его близкий знакомый, ботаник Г., однажды отправился в Ущелье геологов для сбора тундровых трав и не вернулся. Его нашли мертвым в этом мрачном ущельи; лег на камень отдохнуть, сумку подложил под голову и уснул навсегда. Этот ботаник, как многие натуралисты, таил в себе поэтическое чувство природы. Однажды он подарил геологу березку, которая за пятьдесят лет своей жизни поднялась от земли всего только на пятнадцать сантиметров. Ботаник при этом так восхищался маленьким существом, трогательным и выразительным, что и геолог Семеров в свою очередь пленился берез-

кой, и вот я тоже теперь от грандиозных цирков перенес свое внимание на живущие среди них маленькие существа. Я увидел: на большом сиенитовом камне, в трещине, рос и цвел только теперь, в августе, пахучий желтый бубенчик, тот самый Trollius europaeus, который в нашей богатой природе под Москвой появляется первой весной после подснежника, анемона и волчьего лыка. Рядом с желтым бубенчиком цвел, конечно, в очень уменьшенном виде, наш светломалиновый иван-чай, и возле него, в той же самой щелке, набитой перегноем, сидела та самая малюсенькая березка, побратавшая в чувстве природы меня с геологом и покойным ботаником. Вот это замечательно и со мной бывает всегда: если удается своим вниманием сочувственно проникнуть в глубочайшую и характерную мелочь природы, то сейчас же и большое представится совершенно особенно и в согласии с малым: озеро Малый Вудъявр внизу, под нами, почему-то стало трехцветным. Пришлось обратиться с вопросом к геологу, и он объяснил нам, что красное — это просто от неба, голубое — это сама вода горная, ее прозрачно-голубая глубина, а зеленое — это дно: такая прозрачная вода, что через нее видно зеленое дно. После цветистого озера в мыслях моих явился Хибиногорск в чудесном сопоставлении с березкой: большому городу теперь всего три года, а березка в пятьдесят лет поднялась на пятнадцать сантиметров. Но так и все в этой тундровой природе: она очень медленная, но зато человеческое скорое дело на тундровом фоне вспыхивает и кажется взрывом скрытой тундровой жизни. По правде говоря, с обыкновенной дачной точки зрения, какая это жизнь, если даже в самый разгар лета нельзя полежать на траве — холодный камень, нельзя искупаться — ледяная вода! Но зато человек и не лежит и не останавливается, а стремительно движется. Так в заполярной пустыне климат обратно действует на дерево и человека: дерево в полстолетия вырастает на пятнадцать сантиметров, а человек в каменной пустыне в три года собирает город, с электричеством, заводами, железной дорогой, академией наук, банями и музыкальными курсами.

Когда мы были высоко и уже подбирались к молибденовой штольне, где-то в горах грянул взрыв аммонала, и надолго по-

шла перекличка. Вслед за этим раздался второй взрыв и третий, задавая для эхо чрезвычайно сложные звуковые задачи. Я вспомнил тех своих лопарей, с которыми давным-давно ездил на лодке по Имандре и бродил в этих самых горах. Бывало, лопари вздрагивали и роняли из рук весла при малейшем необъяснимом звуке и, бледнея, рассказывали много своих поверий, связанных с неожиданным звуком: кто-то крикнул, и от этого кто-то другой обернулся навсегда в камень причудливой формы. Где теперь эти мои лопари?

Я очень люблю тишину в природе, но есть этому предел: лапландская тишина была действительно страшная, и я как вспомню о ней, так мне тоже начинают показываться в камнях живые чудовища. Лапландскую тишину выносить гораздо труднее, чем даже гудки автомобилей и дребезжание стекол, она как будто вынуждает к невыносимому аскетическому подвигу. И вот я, такой любитель тишины, с удивлением замечаю в себе, что взрывы аммонала и последующий продолжительный грохот в горах доставляют мне удовольствие, и чем больше гремит, тем больше хочется, чтобы дальше сильнее гремело.

•

Когда мало-по-малу взрывы аммонала затихли, и один встреченный нами рабочий сказал, что можно подниматься в штольни, теперь безопасно, разговор наш о лопарях оборвался — и продолжался уже после осмотра молибденовой жилы и совсем в другом плане. Нам пришло в голову, что лопская боязнь цивилизации и своего рода наслаждение грохотом взрывов сохраняются и прочно связываются с некоторыми профессиями хотя бы вот в том же естествознании: у биологов и геологов. Семеров как геолог постоянно имеет дело с аммоналом и должен по необходимости являться непременно гремящим перуном в горах. Напротив, его приятель, профессор К., работающий в заповедниках, ведет свое дело в полнейшей тишине. Раньше, когда их еще не разъединяла профессия, они были большими друзьями и пили вместе не один только чай. Так, они однажды выдумали себе способ купаться в заполярной воде посредством согласованного с холодом воды понижения температуры своего собственного тела. Теоретически натуралисты подошли к тому, до чего всякий пьяница доходит практи-

чески. Взяв с собою литр, они выпили половину и с наслаждением искупались в озере Малый Вудъявр. Вторую половину литра друзья зарыли под заметной двойной березкой с тем, чтобы в ближайшие дни повторить это превосходное удовольствие. Когда же они пришли в другой раз, то вдруг оказалось, что той двойной березки нет на берегу Малого Вудъявра. Бились-бились в поисках, наконец место вспомнили, а березка была тут одна. Покопали, а литр оказался тут, под одной березкой. Вот какая чертовщина: оба же натуралиста именно потому и выбрали эту березку, что она была заметная, двойная. Лопари в таком разе наверно сострялали бы свое очередное «чудо», но натуралисты, не верящие в чудо, сделали опыт, и при совокупном действии заполярной холодной воды и второй половины литровой бутылки винного спирта березка опять стала двойной.

С течением времени хибинские друзья-натуралисты специализировались: Семеров сделался геологом-разведчиком, а К. занялся оленями и организовал олений заповедник в Чуна-тундре, по ту сторону озера Имандры. Однажды Семеров, желая разведать, нет ли в Чуна-тундре таких же богатств, как в Хибинах, захватил с собой аммонал и, совершенно упустив из виду, что он в заповеднике, грохнул и, конечно, ужасно перепугал и расстроил стада подлежащих наблюдению диких оленей. С тех пор друзья не только не купаются в заполярной воде, но профессор К. даже в обществе, за чаем, рядом с геологом не сядет.

СТРОИТЕЛЬ КОНДРИКОВ

(Письмо к другу)

Тиетта. Август 1933 года

Представьте себе, дорогой мой друг, будто вы после долгого перерыва получили возможность узнать о судьбе ваших родственников, друзей, знакомых, что вам о них рассказывают, и вы постоянно задаете все новые и новые вопросы. Непременно бывает при этом просеивании крупинок жизни через решето времени, что вы вдруг вскакиваете с места и говорите взволнованно: «Ну, вот об этом я знал вперед! Разве я не предсказывал?» Точно то же происходит сейчас со мной при возвращении в Хибинские горы, в те самые места, где в юности пробежал мой волшебный колобок. На этих самых местах я теперь читаю свою старинную книгу «Колобок» и нахожу возле себя ответы на вопросы, посеянные мною в то время. Скажите: почему именно мои чувства, записанные в то время, дожили до сих пор и не устарели, как настроения Чехова, вложенные им в описание какой-нибудь земской больницы?

Все, кто знает, каким талантом и каким мастером был Чехов, поймут сразу, что не в таланте и не в мастерстве тут дело. Я это хочу так объяснить: предмет чеховского описания, земская больница, теперь исчез с лица земли, а герой «Колобка» — полуночное солнце попрежнему светит в Лапландии в летнее время, и, располагаясь в этом астрономическом времени, записи мои тем самым как бы и консервируются. Вот для примера я беру следующую мою запись при наблюдении полуночного солнца почти тридцать лет тому назад. Тогда я так записал: «Забываешь числа месяца, исчезает время. И так вдруг на минутку станет радостно

от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать». Это было записано в ущельи Им-Егор, где мне пришлось с лопарями преследовать диких оленей и ночевать. Теперь, почти через тридцать лет, почти на том же самом месте и при том же самом свидетеле, полуночном солнце, мы говорим о том же самом б о л ь ш о м д е л е, которое началось здесь действительно, не имея почти никакой связи с человеческим прошлым этого края. Мы были теперь возле озера Малый-Вудъявр, в отличном здании горной станции Академии Наук. За большим чайным столом, уставленным вареньем, печеньем, конфетами, я слушал теперь горячий спор неизвестного мне человека, скажем просто — Лысого, с пионером Кольского полуострова, всюду известным теперь строителем Хибиногорска, Нивостроя, Химстроя в Кандалакше В. И. Кондриковым. Слава строителя была так велика, что хозяйка чайного стола, минуя Лысого, беспрерывно угощала чем-нибудь строителя, повторяя: «Кушайте, Василь Иванович». Кондриков, простой человек из рабочих, сам воспитавший себя на большом деле, не раздражался и, даже вовсе не обращая внимания на эту мелочь, рассказывал горячо о заполярном земледелии, как всем известно, давшем такие неожиданные и блестящие результаты. В то время как Кондриков говорил об искусственной почве, — что для этого сдирается, как скатерть, тонкий слой торфяного перегноя, мешается с минеральными удобрениями и чуть ли не в мясорубку пропускается, — Лысый вдруг неожиданно оборвал Кондрикова замечанием: «Для чего это нужно делать искусственные котлеты и перегонять людей за полярный круг, если при таких затратах земля на Украине, аршинные черноземные пласты произведут чудеса?» Это был один из таких вопросов, ответить на которые можно лишь изложением всех условий, создавших необходимость заполярного земледелия. Кондрикову пришлось рассказывать историю вскрытия Хибинских гор с самого начала, с тех пор как только были открыты апатиты. Сразу тогда и началась схватка людей, понимавших апатиты как малое местное дело, и других, предвидевших в апатитах большое дело универсального значения. Сторонники малых дел, разумеется, знать ничего не хотели ни о проведении железной дороги, ни о постройке нового города. Сторонники малых дел практически стре-

мились только к тому, чтобы ограбить Хибинские горы и опять предоставить пустыню себе самой. Напротив, сторонникам большого дела необходимо было создавать местную жизнь и таким образом материализовать свою фантазию, начиная с самых пустяков. А оно, это дело, и действительно вначале казалось утопией. Ведь стоит кликнуть клич у нас в Московской области, и тут же, на месте, из ближайших же деревень являются на стройку плотники, столяры, каменщики, слесаря, конопатчики и всякие другие квалифицированные рабочие, занятые из рода в род своим мастерством со времен Грозного и еще много глубже в истории. Но тут нет никакого культурного прошлого. Сторонникам большого дела для возможности построить Хибиногорск надо было параллельно создавать необходимое для большого универсального дела и малое, хотя бы вот это овощное земледелие с его витаминами и другими противоцынготными средствами. Чтобы понять хибинское большое дело, надо ясно представить себе природную и историческую обстановку того края, где оно развивалось, стать лицом к лицу с первозданными породами и силами нечеловеческими. Когда-то, в далеких днях геологического времени, в трещину земной коры вылилась расплавленная масса и постепенно застыла, образуя форму каравая хлеба диаметром в пятьдесят километров. После того ледник срезал и увлек с собой верхние слои, отшлифовав оставшиеся. Конечно, жизнь камня продолжалась, но это была жизнь без катастроф, распределенная в геологическом времени. С точки зрения нашего быстрого времени это было прозябание. Встреча геологического и нашего времени произошла в момент открытия апатитов. Тогда была снята с апатитов шапка пустых пород, и вскоре гора Кукисвумчорр забелела полосками, растущими в человеческом времени. И как быстро! Ведь вся, подробно записанная, история Хибиногорска состоит всего только из трех человеческих лет. Давно ли был спор сторонников малых дел и больших об одном только апатите, а вот теперь уже и молибден, и нефелин, и ловчоррит, и еще около двадцати уже освоенных руд, и неопределенное число впереди. Местная электростанция и обогатительная фабрика стали игрушками в сравнении с тем, чего требует большое дело. На реке Ниве строится для обслуживания хибинского дела электростанция, и другая — возле Имандры, и

третья — в Кандалакше. Тело Кольского полуострова обнимается со стороны Белого моря знаменитым каналом, со стороны океана — растущим так же быстро, как Хибиногорск, Мурманском с его строящимися верфями и незамерзающими портами. Так, вскрытые горы своими богатствами притянули к себе человека, счет лет с геологических сроков перешел на человеческий: десятки тысяч лет превратились в минуты, и все понеслось...

Пусть будто и до сих пор живет в Хибинах тот лопарский пастушеский горный дух, который благодаря рассказам о нем лопарей присоединился ко мне больше четверти века тому назад в сказочном моем путешествии за волшебным колобком по Лапландии. С точки зрения этого горного духа, ведающего всем хибинским караваем — пятьдесят километров в диаметре, вся разработка апатитов на горе Кукисвумчорр представляется как детская игра в спички: по большим черным горам разложено детьми несколько белых спичек — и все. Я сам, когда ехал из Хибиногорска на машине и смотрел на гору Кукисвумчорр с этими ничтожными белыми полосками человеческих дел, настроился по-детски. Не оставило меня это детское чувство, и когда мы, подъехав к самой горе, могли видеть, что там, в высоте не в спички играли, а ступенями в десять метров высотой вели разработку апатитов. Влияние лопарского горного духа на детскость моих восприятий, как я понимаю теперь, сказалось только потому, что горное дело своими глазами я видел первый раз в жизни, а между тем по романам Мамина давным-давно создал себе представление о шахтах, штольнях, взрывах, губительных газах, забоях, жилах, прожилках и тому подобных интересных вещах. Почему-то это всегда бывает так, что когда от книжки или рассказа переходишь к жизни и в ней узнаешь ту же самую вещь, то в этом удивлении — «так вот она какая!» — освобождается особенная сила познания, как будто снимаешь с вещи покров, и об этом открытии хочется рассказать, как о своем собственном: «Я открыл!»

Мы подошли к отверстию большой деревянной трубы, из которой к нам, гремя, выехала железная площадка. Горный техник Сороколет предложил нам стать на площадку. И, только мы стали, вдруг понеслись очень скоро в трубу. Эта забава сколько-то вре-

мени очень приятно продлилась, и, наконец, мы вылетели вон из трубы и увидели вокруг себя серые камни. Сороколет подвел нас к другой трубе, и мы опять понеслись вверх, искушать горного духа. Когда мы вышли из второй трубы, вокруг нас были не серые камни, а белые, чуть зеленоватые. Белые камни эти и были апатитами, а серые прослойки в них и те, сплошь серые внизу, — это все нефелин, алюминиевая руда. Перед нами были забои, представляющие собой высокую белую стену из одного апатита. На стене этой отвесно прицепился, как муха, человек и действовал жужжащей трубкой так, будто он опрыскивал и выводил клопов в этой стене. Трубка же эта была перфоратор, пневматическое сверло, которым человек-муха проделывал отверстие для закладки взрывчатого вещества — аммонала. Возле нас всюду лежали оторванные взрывами от забойной стены камни. В железной тачке руду эту увозили к деревянной трубе (скату), по которой мы снизу приехали. Нефелин, серые камни, подвозили прямо к обрыву и пускали их самокатом. Сороколет стал бранить человека-муху на скале за то, что тот не привязал себя веревками. Он так сильно бранился, что мы полюбопытствовали узнать, почему Сороколет так расстраивается.

— Вольному воля, — сказали мы, — спасенному рай.

— Ему рай, — с раздражением ответил Сороколет, — а трест за него отвечай... Будьте добры, перейдите с этого камня.

Мы стояли у самого края забоя. Наша гора была единственная вскрытая среди множества черных, с неизвестными богатствами. Впереди блестело горное озеро Большой Вудъявр, за озером был невидимый из-за своей собственной дымки Хибиногорск. Мы сели на большой белый апатитовый камень, приготовляясь слушать рассказ об открытии апатитов и о постройке Хибиногорска. Сороколет закурил папироску, прокашлялся и начал:

— Оратор я, конечно, неважный...

Много мы узнали из этого рассказа об апатитах, — как они были найдены, — и о Хибиногорске, но больше всего меня лично заняла одна кухонная плита, с прибытием которой, собственно, и начинается писаная история Хибиногорска. Пересмотрел я в своей жизни множество, конечно, городов, и наших и всяких иностранных, но ведь я видел их один момент сравнительно с их длин-

ной, невидимой мне историей. Начала же городов были всегда легендарными, вроде того, что Рим название получил от Ромула и Рема, которых выпоила своим молоком волчица. В основе же Хибиногорска не волчица, как в Риме, не боярин Кучка, как в Москве, или Медный Всадник в сравнительно новом городе, а кухонная плита, вслед за устройством которой следует подробно изо дня в день записанная трехлетняя история города. Как только я выразил свой собственный интерес к этой плите, Сороколет почему-то сразу понял меня без всяких объяснений: очевидно, и ему эта историческая плита уже стала так же дорога, как историкам Рима — волчица. Мы узнали, что эта же самая плита легла в основу истории Кирова поселка, расположенного у подножья горы Кукисвумчорр, и сегодня ее перебрасывают в район горы Ловчорр, где закладывают новый поселок, быть может, даже будущий город Ловчорргорск.

Узнав о предстоящей сегодня закладке нового поселка, быть может, города, с целью разработки ловчоррита, содержащего дорогие, редкие земли, — мы спустились с апатитовой горы, сели в машину и по вновь пробитой в горах дороге отправились в самую пустынную землю, какая только есть на свете: в теснинах гор не было заметно с машины ни малейших признаков даже скудной тундровой растительности. К этому случилась холодная снежная метель, мы зазябли, и от этого местность вокруг Ловчорра представилась нам до крайности неприютной. Однако, после того как нам встретился один большой грузовой автомобиль, наполненный рабочими, мужчинами и женщинами, потом еще другой, такой же, и третий, пустынность природы перестала действовать на нас удручающе; напротив: это преодоление человеком естественных условий заражало бодростью. А у подножья самой горы Ловчорр стояла группа рабочих, и среди них один высокий властной рукой показывал им куда-то наверх. Это был сам В. И. Кондриков, и показывал он на плиту, которую спускали сверху на канатах. Нам досталось большое счастье встретить историческую хибиногорскую плиту при основании Ловчорргорска. Мы видели, как озябшими руками рабочие установили знаменитую плиту, как повар ее затопил и другие раскинули большую палатку, внутри которой от плиты стало скоро очень тепло. Многие из рабочих были при

основании Хибиногорска, и все были избранные, стойкие люди. Во главе с Кондриковым они принялись обсуждать вопрос, с каких построек лучше начать — с одноэтажных или с двухэтажных. Кондриков стоял за одноэтажные, и все мало-по-малу с ним согласились. В этом совете не было ни у кого ни малейшего внешнего преимущества, и ни малейшего не было стеснения. Не было никаких праздных слов, речей, похвальбы. Тут была творческая ячейка людей согласных, здоровых и очень решительных и, казалось, вполне удовлетворенных тем теплым уютом, который давала им замечательная плита.

К варягам



СВИДАНИЕ У КАНИНА НОСА

НА ПРИСТАНИ

9 июня

Я опять в Архангельске, на берегу двинской дельты, у того самого камня, где весной, в мае, остановился мой волшебный колобок. Опять тут те же три росстани: в Соловецк — Лапландию, в самоедскую тундру и в океан. Опять те же люди — моряки и богомольцы. Я уже прошел теперь путь с богомольцами. Теперь еще определеннее, чем раньше, все их странствование мне представляется поклонением той черной безликой иконе, на которой беспокойно дрожит отражение пламени. И полуночное солнце мне кажется лампадой, зажженной над мертвой пустыней.

Хочется простых ощущений, общения с обыкновенными и свободными людьми.

Множество парусных шкун будит во мне воспоминания, переносит меня в те времена, когда иллюзии майн-ридовских романов казались легко-осуществимыми возможностями: стоило только убежать. В эти не так счастливые, как кажется, но все-таки дорогие и милые времена я всегда и всюду плавал на парусном судне. Но потом исчезали иллюзии, легкое, грациозное судно уплывало в неведомую призрачную даль, а здесь, вблизи, вместо него пыхтел буржуазный скептик — пароход...

И вот я снова на опушке зеленого леса.

На архангельской набережной весело: сколько тут мачт настоящих парусных судов!

Трещат канаты, надуваются паруса, десятки шкун приплывают и уплывают в море, сотни стоят у берега на якорях, красиво раскачиваются и отражаются в спокойной воде.

Тут люди не стареют душой: я вижу пожилого почтенного человека на самом кончике шпиля; он завязывает веревочки и вот-вот бухнет в воду. Вижу совсем седого старца, похожего на образ Николая-угодника; он свесил ноги с борта и распевает веселую песню с бутылкой в руке. Про малышей и говорить нечего: те так и снуют по мачтам. Читаю надписи на судах: «Св. Николай», «Св. Николай» — и так без конца. «Почему бы это?» — думаю; и припоминаю, что, по преданию, Николай-чудотворец имел власть над морем. Вспоминаю, что в былине «Садко» он даже спускается к водяному и выручает новгородского купца. Ясно, почему моряки называют свою «посуду» в его честь. Но мне просто хочется поговорить с моряками, и я спрашиваю их:

— Почему вы называете свои суда Николаями?

Меня сейчас же обступают. Смеются и поясняют:

— А вот потому Николаем называем, что как выйдешь в окиян, да поднимется погодушка, да зачнут как взводни (волны) горами ходить, так тут и станешь поминать Николу-угодника, тут и примешься его за бока грызть, а потому и называется «Святой Николай». Поезжай, попробуй, — и ты вспомнишь; небось, забыл.

Пояснил мне, смотрит на меня, хохочет, и еще человек десять хохочут. Я тоже смеюсь. А они все приговаривают: «Попробуй-ка, попробуй». Потом друг за другом рассказывают, как их трепало море. Один хватается за канат, упирается ногами в камень, показывает, как он держит руль в бурю, а другие смеются, заливаются смехом, и каждый готовит новый рассказ.

— Попробуй-ка, попробуй!

— А возьму да и попробую... — говорю я.

— Что ж, то можно, — серьезно отвечают мне моряки. — Попросишь, любой капитан возьмет на море.

И в самом деле приходит мне в голову: раз уж я задумал узнать жизнь северного человека, то прежде всего нужно познакомиться с морем.

— Как бы это устроить, чтобы вышло недолго? — спрашиваю я.

— Очень просто, — отвечает мне молодой человек, загорелый, с синими морскими глазами, — очень просто. Поедемте со мной

в океан на десять суток ловить рыбу. Вот и узнаете нашу морскую жизнь. У меня судно хотя и паровое, траулер, но экипаж весь с парусных судов...

Молодой человек — капитан, хозяин небольшого английского парового рыбацкого судна, первого траулера в России, на Северном Ледовитом океане. Каждые десять суток он совершает рейс в океан и ловит рыбу приблизительно у Канина Носа.

Я радуюсь его предложению, как ребенок; мне кажется, будто я бегу в Америку. Я, конечно, согласен.

— Но только помните, — говорит мне капитан: — если с вами приключается морская болезнь, то высадить вас никуда не можем, разве в Тиманскую тундру, к самоедам.

— Ничего, — отвечаю я, — ничего...

— Вот и попробуешь, — смеются опять моряки. — Попробуйка, попробуй!

И все жмут мне на прощанье руку, хотя и незнакомые. Какие незнакомые! Я, конечно, вряд ли узнаю их при встрече, но они меня наверно узнают и напомнят:

— Да вот на пристани ты спрашивал, почему мы свою посуду по Николаю-угоднику называем... Ну, как же, попробовал, знаешь теперь?

БЕЛАЯ НОЧЬ

— Это не путешествие, это роман, да еще с великой княгиней Ольгой, — сказал мне на-днях мой знакомый, выслушав мой рассказ о поездке в океан.

— Да, ответил я, — если бы только Ольга была настоящая Ольга...

Но вот мой рассказ.

Условившись с капитаном траулера, я отправился к себе в гостиницу. Служитель внес в мой пыльный номер самовар, пожелал спокойной ночи и закрыл дверь. Я остался вдвоем с самоваром. Это одиночество в пути так приятно волнует. Завтра встретятся интересные новые люди, завтра захватит новая, незнакомая жизнь, но сегодня вот этот пыльный номерок... и ни одного знакомого во всем городе, кроме капитана.

На потолках, на стенах густая пыль и паутина; сверху спускается паук и, испуганный паром самовара, спешит наверх. Беру письма и читаю одно за другим, сам пишу, не замечаю, как мало-по-малу останавливается день, наступает светлая летняя архангельская ночь. Одно письмо меня раздражает, я разрываю его на мелкие клочки и открываю окно, чтобы выбросить. И тут замечаю, что уже ночь; тихо, светло, совсем, как днем, светло; но все изменилось, потому что все остановилось. Пускаю в воздух листки бумаги, они слетают вниз; слышно, как странно шелестят, падая на камни, и останавливаются, и глядят молчаливые, но еще более неприятные для меня там, внизу, чем тут, в гостинице. Я со злобой смотрю на них, они — на меня...

Вдруг с треском открывается окно возле меня... Вздрагиваю, пронизанный иголками ужаса, вижу рядом с собой человеческую голову...

Ничего особенного. Просто жилец из соседнего номера заинтересовался моими бумажками и открыл окно.

— Вы меня испугали.

— Извините...

И мы оба смотрим на бумажки. Но белою ночью, когда все молчит, совсем уже неловко так рядом сидеть и молчать.

— Вы куда едете? — спрашивает он.

— К Канину Носу.

— А вы?

— На Новую Землю.

Мы разговариваем одними словами, мы делимся одними настроениями, и через пять минут мой новый знакомый переходит ко мне.

Наше общение призрачно так же, как эта белая ночь. Быть может, завтра мы расстанемся, как чужие люди, и никогда не встретимся. Но сейчас мы близки, мы готовы открыть друг другу все, что есть на душе.

Мой знакомый едет тем же путем, как и я, на Новую Землю, на большом, прекрасном пассажирском пароходе «Великая княгиня Ольга», а я — на маленьком «Николае». Мы предполагаем возможность нашей встречи в океане и радуемся этому. Он — зоолог, едет изучать птиц. Он не простой ученый, а поэт своего дела, романтик. Целое лето он будет на Новой Земле, в палатке, в совершенном одиночестве.

— Там есть несколько самоедов, — говорит он, — кажется, поселенных там правительством, и только... Они мне помогут при охоте на зверей и птиц.

Он увлекается и приглашает меня в свой номер, показывает металлическое блюдце, в котором он будет себе варить уху, кашу, жарить птиц; показывает палатку, несколько меховых вещей, ружье...

— И все? — спрашиваю я.

— И все... — улыбается он. — Так вот и буду жить.

Он улыбается мне так, будто стыдится, что с него спала одежда ученого, взрослого, и остался мальчик, которому хочется позабавиться с ружьем на пустынном полярном острове.

И мне снова, как и в первый раз на архангельской пристани,

кажется, что времена капитана Гаттераса возвращаются. Мне чудится, что это не случайный дорожный знакомый, а один из моих маленьких школьных друзей, с которыми я когда-то пробовал удрать в неведомую, дивную страну...

Мы долго говорили о самоваре и сухарях. Сколько их нужно, чтобы прожить три месяца на Новой Земле? Это сложное вычисление. И брать ли с собой солонину? Зачем брать, когда на Новой Земле живут несметные стаи гусей, водится множество оленей, попадаются белые медведи. Убить одного оленя, и хватит надолго: на Новой Земле, кажется, нет бактерий гниения, значит мясо сохранится долго. А можно ли на тюленьем жиру поджарить гусей? Вот вопрос! Да гусей можно жарить в собственном жиру! И мы оба вспоминаем, что в детстве нас почему-то мазали гусиным салом, кажется, от простуды. А потом еще есть рыбий жир, тресковый, на нем тоже можно жарить.

Так мы долго говорим, потерявшись во времени, забывая о движении ночи, светлой архангельской, не мигающей звездами. Комнаты наши рядом. Разойдясь потом, мы все еще переговариваемся.

Трудно заснуть такою ночью... Не спится... Мне вспоминается то время, когда мы, дети, оставив свои ранцы с книжками в городском саду под кустом, пустились по реке на лодке в какую-то неведомую, прекрасную страну.

Как она называлась? — силюсь я вспомнить. — Мы называли ее Америкой, но иногда и Азией, и Австралией... Это была страна без территории, без названия, населенная дикарями, которых мы должны победить, добрыми и злыми животными, растениями с широкими зелеными листьями... Мы плыли на лодке, и изгибистая речка то открывала, то закрывала зеленые ворота. Ночью, нашей ночью, звездной, мы вышли на луг и стали рубить саблями высокий тростник, совсем будто сражаясь с дикарями... Тростник мы побросали в лодку, а на лугу зажгли костер и пробовали изжарить на вертеле убитую чайку... Но тут на лугу кто-то еще развел огонек и уселся, большой, черный, спиной к нам, бородою к огню. Мы бросились к лодке, уселись на сухой тростник, отплыли на середину реки. Но с луга к берегу все ползли и ползли, шелестели и высматривали нас из травы...

За стеной не спит, зевает и перевертывается с боку на бок мой новый товарищ. Я вспоминаю, что забыл посоветовать ему очень важное в дороге, без чего невозможно есть ненецкую уху: взять с собой перцу и лаврового листа.

— Вы не спите?

— Нет, завешиваю окно: светло, непривычно...

— Захватите перцу и лаврового листа.

— Ах, да, вот спасибо. О чем вы думаете?

— О какой-то дивной стране, куда мы в детстве бежали. И рассказываю.

— А как же страна называлась?

— Страна без названия, — смеюсь я, — без территории.

— Я тоже хотел туда удрать, — говорит он.

— Почему же вы не удрали?

— Так что-то... А жаль, не удрал. Теперь стал естественником, территория всякой страны изучена до точности... Теперь уж не убежишь... Тогда нужно было, а не теперь. Да, знаете? И пропасть бы там, что ли, как-нибудь там, совсем...

— Ну, уж нет, — говорю я, — вот съездим еще на Новую Землю, в океан. Покойной ночи. Завтра мы с вами расстанемся и непременно встретимся у Канина Носа; подумайте: свидание Николая и великой княгини Ольги у Канина Носа!

ОТЪЕЗД

Так начался роман «Николая» и «Великой княгини Ольги».

Светлой ночью мы решали их судьбу, как античные боги на Олимпе, а оба судна стояли рядом у берега. «Ольга» — еще молчаливая, а «Николай» — взволнованный, на парах. Когда на другой день мы подошли к ним, чтобы попросить капитана о встрече у Канина Носа, моряки беседовали с картой в руке на палубе «Ольги». Нам и не нужно было просить, они уже говорили об этом свидании. На «Ольге» ехало несколько туристов и туристок, и капитан хотел им доставить удовольствие: посмотреть траулеровый лов рыбы в океане. А капитан «Николая», как человек практичный, просил привезти ему соли, потому что на судне ее было мало, а времени для покупки и нагрузки ее не оставалось.

С циркулем в руке они блуждали по океану и устанавливали точку встречи. Кажется, миль тридцать за Каниным Носом, в океане.

— Встретимся, встретимся, — говорит нам один.

— Вот только, если туман... — сомневается другой.

— Почаще свистеть, — и услышим.

— А если прокинет течением в тумане? Только вряд ли туман будет.

В это время подошли туристы — несколько дам и мужчин; они хотят прокатиться на Новую Землю и просят капитана показать им помещение на «Ольге». Мы спускаемся вниз, в удобные пассажирские каюты, пробуем садиться на мягкие пружинные диваны, везде так хорошо, удобно. Одна из дам, в черном плаще и со старинной сумочкой через плечо, подняла крышку пианино и взяла аккорд... Эти звуки почему-то надолго остались во мне. Веселый разговор с дамами и звуки пианино совсем не шли к новоземельскому настроению моего нового приятеля...

— Пойдемте, — шепнул он мне, — осмотрим «Николая», да и время нам ехать.

— Ничего, — утешаю я его, — они же не останутся на Новой Земле.

— Да, но все-таки хотелось бы более подходящее введение; этим можем мы насладиться и дома.

По узенькой дощечке, рискуя по непривычке свалиться в воду, мы взобрались на борт «Николая». На палубе капитан, все еще в своем джентльменском костюме, и человек пятнадцать поморов-матросов суетились, готовясь к отъезду. Капитан стал нам показывать свой пароходик и рассказывать его биографию: родился в Англии, детство и начало юности провел на родине и в своей лучшей поре, восьми лет, явился в Россию; стареют траулеры быстро: в тридцать лет уже дряхлые старики, вот потому нужно пользоваться временем и совершать поездки в океан через каждые десять дней.

Капитан нам рассказал, что пароходик вовсе не так сильно качает, как можно думать, судя по его сравнительно небольшим размерам (110 футов), потому что он сидит глубоко, на 14 футов, при нагрузке углем до шести тысяч пудов. Такая нагрузка всегда одинакова, потому что по мере сжигания угля прибавляется вес пойманной рыбы. Капитан объяснил нам еще технику лова рыбы, но я плохо слушал, потому что предстояло видеть это целых десять дней; я все рассматривал интересные загорелые лица моряков-поморов.

Потом мы пришли на кухню и оттуда по темной, почти отвесной лестнице спустились вниз, в каюту. Там мне показалось лучше, чем я ожидал, только немного тесновато. Комнатка, шагов в пять в длину и ширину, освещается сверху иллюминатором. Посредине неподвижный стол и над ним висячая лампа. Стенами этой комнатки служат дверцы шкафов, в которых помещаются койки машиниста, помощника машиниста, штурмана; у капитана с его братом, юнгой, отдельный, более просторный двухместный шкаф, освещенный сверху иллюминатором. Одна из этих коек предназначалась мне. Здесь, на корме, помещается привилегированная часть экипажа, а в носовой части судна, в совершенно такой же каюте, устраиваются матросы.

— Славно, завидую вам, — сказал мне зоолог, — вот только покачает же вас!

И мне от этих слов показалось, что тут как-то особенно пахнет и как-то странно в такой, слабо освещенной сверху, комнатке, погруженной в воду: вот-вот она качнется.

— Ничего, — ответил капитан, — большие суда еще сильнее качает. А если шторма не будет, так и хорошо, как покачивает.

Тут я заметил, что у меня выскочила запонка и покатилась по полу. Я стал искать ее, но не мог найти. Все мы искали долго и все-таки не находили. Наконец капитан сказал:

— Некогда, господа, пора ехать. Ничего найдется потом, молоко из лодки не выльется...

— Какое молоко? — не догадался я.

— Это такая поговорка у нас, — засмеялся он. — Бабы с острова молоко возят в Архангельск, они, верно, и выдумали, а теперь у нас так все говорят. Пойдемте, господа, пора ехать.

Я еще раз окинул глазом эту подводную комнатку, из которой и в самом деле молоку никак нельзя вылиться, и стало будто немного неприятно, жутко: десять суток в океане качаться, жить в этой странно освещенной комнатке с морским запахом. Вот говорят, — пришло мне в голову, — о свободной жизни моряков; и тут такая маленькая качающаяся камера... Но это было только одно мгновение. На палубе нас встретили солнце, простор широкой реки и суета матросов. Зоолог пожал нам руки и сошел на берег. За ним сейчас же убрали трап. «Николай» свистит, шипит. Но «Ольга» с группой туристов молчит.

— До свиданья! — кланяюсь я им.

— До свиданья! — отвечают они мне.

— Отдай лебедку! Бухту скинь! Отдай вязки! Якорь чист?

— Чист.

— До свиданья! — кричат нам и машут платками.

— У Канина Носа! — отвечаю я им.

Зоолог с туристами скоро исчезает за баркой, видна только дама в черном плаще на носу парохода.

Мы поднимаем флаг, делаем «Ольге» салют. Она нам отвечает.

— До свиданья, «Княгиня Ольга»!

— До свиданья, «Николай»!

ПО МАЙМАКСЕ

Я почему-то раньше представлял себе, что Архангельск лежит у самого моря, — я совершенно забывал треугольник двинской дельты, в тридцать пять верст длиною с запада и в пятьдесят верст с востока. Тут множество островов, множество протоков, так что без карты разобраться в лабиринте совершенно невозможно. Кое-где по этим островам виднеются деревеньки, первые поселки новгородцев в стране северной чуди, как указано в путеводителе. Но большинство их не занято, многие так болотисты, что и совершенно не годны для поселения.

— Что тут птицы бывает! — рассказывает мне матрос Матвей, здоровенный, коренастый курносый новоземельский охотник. — Птицы тут великое множество: утки, гаги, гуси прилетают.

Этот Матвей мне прежде всех бросился в глаза и понравился своим открытым и веселым лицом. У него в руке зверобойное ружье — норвежский ремингтон, с которым он не расстается.

— Тут на море всякая штука может встретиться, — поясняет он мне: — заяц морской, нерпа, белуха, касатка.

— Неужели же таких огромных животных, как касатка и белуха, можно убить пулей? — сомневаюсь я.

— Точку надо знать, — говорит он: — в сердце попасть — тогда убьешь. Только вот тонут. Застрелишь, — взревет и потонет, редко захватишь.

Заметив мое сомнение в том, что он может пулей попасть в движущуюся точку, Матвей прицеливается в летящую чайку и стреляет. Большая морская чайка с темными крыльями и с белоснежной шеей спотыкается в воздухе и падает в воду.

А Матвей все так же спокойно, от полноты здоровья, улыбается, как и до выстрела. И мне кажется, что такие удачные выстрелы можно делать, когда в душе нет ни одной малейшей

царапинки, когда там все просто, спокойно растет и, разогретое, выпирает наружу.

— Жарко мне,— говорит Матвей,— не привыкли мы к жаре,— и снимает свой пиджак.

И другие снимают. Всем жарко. Но мне совсем не жарко, я даже не понимаю, как можно при этом остреньком ярком северном солнце чувствовать жару.

Пока мы едем по извилистой узкой речке Маймаксе, я знакомлюсь со всем экипажем и фотографирую интересующие меня лица. И как же любят эти простые люди фотографироваться!.. Мне кажется даже, что в основе этого лежит что-то серьезное, вроде того, как для нас — написать книжку, оставить вообще по себе след, объективироваться. И в самом же деле, вот хотя бы этот старик в ирландских брюках, которого здесь называют все дядей; на лице этого старика написано, что он раз десять тонул, и его спасали, и раз десять он спасал, и что если он булькнет в воду, то, кроме минутных кружков в воде, ничего не останется. А то вот я его сфотографирую, и он повесит портрет в «чистой» комнате над столиком с тюлевой скатертью. На него будет смотреть из угла птица Сирин, а с потолка — вырезанный из дерева и окрашенный в синюю краску голубеночек. И так в этой чистой комнате, куда заглядывают хозяева только в торжественных случаях, будет висеть старик-помор, потом сын с женой и с детьми. Постепенно возникнет любопытнейшая фамильная галерея в этой чистой комнате с тюлевыми занавесками и старинными образами.

Вот почему, знакомый немного с архангельским бытом, я с удовольствием снимаю таких людей. Старик в ирландских брюках застенчив. Он мнется, топчется, искоса поглядывает на меня, наконец подходит и спрашивает: «Почем?» — и не приду ли я к нему в Мудьюгу, и не сниму ли я его с супругой?

— Зачем тебе? — спрашиваю я.

— Как — зачем? А то, как помрешь, никто о тебе и не узнает.

Я навожу аппарат, но он пугается; ему надо расчесать волосы, смазать их маслом, чтобы было «честь честью». Он долго возится внизу и является наверх с пробором посредине, тем самым человеком, который поражает нас на фотографиях величайшей искус-

ственностью позы и напряженностью лица. Я его фотографирую, он испытывает глубочайшую благодарность и садится, добрый, возле меня, на канатах. Немного молчит и спрашивает:

— Откулешний?

— Из Петербурга.

— А родина?

Я назвал. Он помолчал.

— А по какому же ты делу ездишь?

— Карточки снимаю.

— Тем и занимаешься?

— Тем и занимаюсь.

Опять мы молчим.

— А жена есть?

— Есть.

— И деточки есть?

— Есть.

— Ну, прекрасно, — говорит он наконец, вполне удовлетворенный и с открытой душой.

Я подвергаю дядю такому же допросу. Он из Мудьюги, торговой беломорской деревни, недалеко от Двинской губы, на Зимнем берегу. Зажиточные поморы этой деревни ведут торговлю с Норвегией, плавают туда на тех самых шкунах, которые я видел с архангельской пристани. Из Мудьюги вышло много очень смелых и зажиточных, или, как выражается дядя, «прожиточных» мореходов. Капитан траулера тоже из Мудьюги и оказывается племянником моего старика. Так вот откуда ирландские брюки! — думаю я. Но нет, дядя их купил сам в Англии. Почти все матросы нашего судна бывали за границей, у всех в костюмах есть след влияния Европы. Между первобытным дядей Матвеем и джентльменом, вполне европейцем, капитаном — целая лестница. Мне хочется понять этот переход, взять что-нибудь среднее, и я знакомлюсь с юношей-юнгой, братом капитана. Он ученик шкиперской школы, совсем мальчик на вид, но выполняет все обязанности матроса. У него бездна желаний, он мог бы побывать уже в Лондоне и Париже, ему уже предлагали места на иностранных судах с жалованьем пятьдесят крон в месяц, но брат не выпускает его из-под своей опеки. «А вы откуда?» —

спрашивает меня юноша. Я называю. «Там соловьи поют. Видели вы соловьев? А Париж видели, а Италию?» К нам подходит другой юнга, постарше; этот уже везде бывал, и вид у него необычайно самоуверенный. Юнга спрашивает меня, в каком журнале ему поместить свое сочинение. Оно еще не начато, но будет написано непременно; он изложит все, что знает об океане. Молодой человек оказывается очень интересным и энергичным. Он рассказывает мне, сколько он перенес невзгод, прежде чем попал в шкиперское училище и сделался там первым учеником.

— Прежде всего я был к о к о м, то-есть, по-вашему, поваром.

— Вот таким? — сказал я ему, указывая в кухню на молодого парня, страшно грязного, с раскрытым ртом и пальцем в носу.

— Нет, — засмеялся он, — это вологодский кок, они приходят из Вологодской губернии и привыкают к морю уже взрослыми. А я — природный помор и начал плавать на парусном судне мальчиком. На шкуне кок должен все делать, не только пищу готовить. Чуть что не изладил, тут тебе сейчас волосянка. Тут уж не станешь вот так пальцем ковырять. Бывало, в поветерь хозяин проснется, почешется, потянется, встанет, посмотрит на море, зевнет: «Побережник! Ванька, ставь самовар!» Еще почешется: «Подожди, не надо». И опять завалится. Проснется: «Где самовар? Я тебе сказал самовар ставить!» И волосянка. «Ставь!» — кричит. Побежишь ставить. «Стой! Дай квасу!» Таскают-таскают: то пищу готовить, то рыбу солить, то паруса сшивать. И нет отдыху, хоть поветерь, хоть шторм. Редкий дойдет до штурмана или капитана, а то так пропадают всю жизнь в матросах. Нужно очень бойким быть!

Он опять указал мне на вологодского кока и засмеялся.

— Ну, далеко ли уйдет такой человек! Да и мне бы сидеть веки-вечные матросом, если бы сам за ум не взялся. Отдал меня батюшка-покойник в Соловецкий монастырь годовиком. Осмотрелся я там. Кончился срок. Нет, — говорю, — батюшка, не стану я так, по-вашему, жить. Да и ушел из дому. Вот так и наладился. Объездил весь свет, ездил и с англичанами, и с норвежцами, и с немцами, бывал на зверином промысле на Новой Земле, знаю все морское дело и вот теперь первым учеником кончаю, осталось одно лето практики.

А батюшка его, — думаю я, — был, наверно, вот таким, как этот дядя в ирландских брюках, таким же крепким корнем, считавшим за великий грех высунуться из-под земли, державшимся всю жизнь за какие-то светлые точки там, в темноте, и все укреплявшимся и коренившим, пока не настали другие времена.

— Край наш богатый, непочатый, — продолжает юноша, — море наше кипит зверем, только возьмись, приложи руки. Старики наши, вот хоть этот дядя, на льдинах плавали за зверем. Разве можно так промышлять! Себя не жалели, не понимали. Они вот так плавают по океану на льдине, пока их ветер к берегу не принесет. И рады, если по двести, по триста рублей на брата выручат. А англичане и норвежцы тут же с своих судов им через голову стреляют и десятки тысяч увозят.

Я слушаю юношу и думаю о том, какой высший предел возможности его развития здесь, чем он удовлетворится, как кончится его карьера.

И, будто в ответ мне, тают узкие берега Маймаксы, и открывается бескрайная даль Белого моря.

В ГОРЛЕ БЕЛОГО МОРЯ

Я целый день не схожу с палубы: так хорошо на солнечном угреве, возле дышащего холодком северного моря. А вечером и совсем нельзя уходить: мы должны въехать в горло Белого моря, в ту узкую часть его, которая выводит в океан. Мы должны увидеть Терский берег Лапландии, должны проехать мимо острова Сосновца, через который проходит полярный круг. Там в это время года солнце уже не садится, и можно видеть полуночное сияние. Но дядя обещает туман и качку. У него примета: если суп пересолен, то, значит, будет качка и туман, — а суп был сильно пересолен...

Так я стою и жду, когда солнце остановится и поднимется наверх. Легкий ветерок NO холодит, небольшое волнение, верхушки волн светятся, зеленея, и рассыпаются белыми гребешками. Налево колышутся какие-то тяжелые белые полосы.

— Это туман?

— Нет, не туман, это тепло полезло с берега. Вот туман!

Старик показывает рукой прямо вперед. Там, далеко, будто подпирая солнце, пушистая белая гряда гор.

— А где же туман?

— А вот эта стенка и есть туман, — он показывает рукой на пушистые горы. — У нас примета: как подует полуночник (NO), то придет туман рано или поздно. Обязательно придет. Потому придет, что этот ветер гонит туман рано со льдов, с Новой Земли.

Я всматриваюсь в стенку: она бежит на нас, подвигается со страшной быстротой. Вот покраснело и сплюснулось солнце, и разошлось, и будто растворилось в тумане. Окутало сыростью

и мертвым белым мраком, дохнуло льдинами Новой Земли. И так проходит долго-долго.

— Слепой туман! — говорит дядя.

— Где мы теперь? — спрашиваю я.

— А бог знает, где... Сосновец, верно, уже проехали.

Он рассказывает мне об этих местах страшные истории. Каждое из таких имен, как остров Моржовец, Три Острова, мыс Городецкий, Орлов, Святой Нос, в его душе написано бесчисленными кораблекрушениями, украшено легендами, преданиями.

В горле Белого моря, где океанская вода встречается с беломорской, образуются опаснейшие водовороты — «сувои», и дядю много раз обносило вокруг Моржовца течением, или «венчало», как он говорит. И «венчало» его не на шкуне, даже не на лодке, а на льдине.

Этот старик зимой с семью такими же, как он бесстрашными товарищами выбирают большую льдину, садятся на нее и едут так по морю, вполне покоряясь стихии. Льдину носит ветром и течением, охотники стреляют морских зверей и дожидаются, когда принесет их к берегу. Обыкновенно судьба милует их и оставляет в «своем море». Но, бывает, и гневается и «проносит» сюда, в горло Белого моря. Тут их «венчает» вокруг Моржовца, уносит дальше в океан. Остается одна надежда — на Канин Нос. Но если и мимо Канина пронесет, то тогда всякие земные помышления нужно отбросить и положиться на волю судьбы. И бывает, что их вынесет на Новую Землю и даже на далекую Печору.

— Всяко бывает, — говорит старик, — всякое посылается испытание нам, грешным, на сей земле. Много-много голов наших тут складено. Несть им числа... Вот тоже Семена лонись (прошлый год) у Городецкого волной стегнуло...

И он рассказывает, как у Семена разбило в темную ночь шкуну у Трех Островов, как при свете волн (фосфорическом) они с разбитого на камнях судна увидели близко черные скалы Лапландии и, привязав к высокой мачте веревку, раскачавшись, по-одному перелетели на берег. Рассказывает, как это судно приливом подвинуло к берегу, и как они сделали из него костер, чтобы обогреться. Семен же крепко плакал, тужил, потому что восемь-

сот пудов семги унесло и судно разбило, а потом и вовсе взбесился, но его тут сетями опутали, и он стих у костра.

— Да где же мы теперь? — спрашиваю я, взволнованный этими рассказами, протестующий и будто сдавленный со всех сторон этой надвигающейся неведомой полярной силой. — Где мы теперь?

— Неизвестно: кругом туман, слепой туман...

ЖИЗНЕННАЯ КАЧКА

— Где мы? — спрашиваю я тревожно капитана, спустившись.

— Не знаю, — говорит он мне спокойно, — туман. Вероятно, где-нибудь около Сосновца.

Он совершенно спокоен, потому что проезжал здесь сотни раз и вполне доверяет штурману.

Иллюминатор чуть бледнеет наверху, и мне не видно капитана. Знаю только, что он лежит на койке, потому что вижу там красный огонек его сигары.

Вдруг я чувствую, будто наша каюта опрокидывается, что я теряю способность ориентироваться; твердое, непоколебимое пространство будто становится жидким и ускользает.

— А знаете, — говорит капитан, — тут, в горле моря, непременно качка будет. Чувствуете, как славно качнуло?

Я спешу лечь на койку и избежать этим легкого головокружения.

А капитан, как ни в чем не бывало, философствует и рассказывает мне свою морскую жизнь. Ему хочется рассказать мне, стороннему человеку, о себе, вроде того как дяде — сфотографироваться.

— Наша морская жизнь, — начинает он, — непрерывная качка. Как и всем у нас, мне пришлось начинать с кока, но только я с отцом ездил, это гораздо легче: отец жалеет, не очень гоняет. Отец меня любил, а несогласия пошли только после монастыря. Отслужил я год в монастыре, не очень понравилось, и так думаю: надо как-нибудь пробиться вперед. Стал по-своему жить. Отец все косился, ворчал, а вот как я поднялся на ноги, да все семейство стал кормить, да дом выстроил, — замолчал. Он внизу живет по-своему, а я наверху — по-своему... Однако здорово покачивает. У вас голова еще не кружится?

— Ничего.

— Ну, может быть, ничего и не будет. Бывают такие люди, что не болеют. А меня мальчиком так сильно море било... Хорошо. Как стал я на ноги, думаю: вот бы пароходик купить, наживку * развозить мурманским промышленникам, как в Норвегии, а в штиль можно шкуны буксировать. Нашелся капиталист, дал денег, и поехал я в Норвегию покупать пароход. Знакомый купец-норвежец отговаривает. «Купите, — советует мне, — траулеровый пароход в Англии». — «Зачем? — говорю я. — Разве в нашем море можно тралом ловить?» — «У вас-то,— говорит,— и можно». И показал мне книгу. Смотрю: три, четыре, пять тысяч за рейс к Канину Носу. Тут я, куда ни шло, взял да и зафрахтовал норвежский траулер. Сделаю, — думаю, — опыт, сначала попробую на чужом. И вот, под норвежским флагом, являюсь на Мурман. Закинул трал. Изорвался. Закинул другой. Изорвался. А тут еще оборвал ярус **. Промышленники на меня накинулись, что я на иностранном пароходе да еще им снасть рву, губернатору подали прошение, я — телеграмму. Разрешили мне ловить, только чтобы не мешать промышленникам. Тут я и убрался к Канину Носу. Закинул там. Ничего. Закинул еще. Ничего. А время идет, ведь две тысячи в месяц с меня брали!.. Ну, вот вам и качка, чуть было я тут не разорился...

Капитан рассказывает, а я напрягаю все свое внимание, чтобы слушать его и не слушать себя, потому что там, внутри, совершается какая-то возня, будто что-то там качается и даже слегка попискивает.

— Что это пищит? — не выдерживаю я наконец этой борьбы с собою.

— Это крысы пищат, — отвечает капитан, — проклятые английские крысы, чорт бы их побрал, не могу извести, какие-то особенные, большие, породистые. Заткните бумагой дырочку... Нашли? Она у вас над головой должна быть. Заткните получше, а то на койку, бывает, выскакивают. Это их дети пищат... Ну,

* Наживка — рыбка, вообще все, что насаживается на крючок для ловли рыбы.

** Ярус — то же, что перемет, которым ловят рыбу, только большой, с версту длины и больше.

хорошо. И повезло же мне у Канина потом: все оправдал и выручил еще тысячи две. Тут я и отправился в Англию вот за этими крысами. Купил пароход и еду назад морем зимой, в октябре. Поднялся шторм страшнейший, било нас дня три. Шторм и туман. Никак определиться не можем. И вот тут вышла история: чуть мы не погибли. При покупке парохода не заметил я, что лаг был старый... Вы знаете, что такое лаг? Вертушечка, которую спускают на веревке в воду и отмеривают число пройденных верст. Этим мы только определяемся. Лаг был старый, непроверенный, отсчитывал меньше, чем нужно, а шторм задерживал и тоже спутывал время. Рассчитываю я по числу верст, что, должно быть, близко Норвегия, и свернул к Лофоденским островам. Едем-едем-едем... нет островов. Что за история! И уголь выходит весь, и не знаем, где мы. Тут расчистило туман. И такие, скажу вам, засверкали северные сияния, что в жизни никогда не видел. А Полярная звезда чуть не над головой стоит. Земля показалась. Какая тут может быть земля? Один матрос, бывалый, узнал. Это, говорит, Медвежий остров. Вот ведь куда мы заехали, чуть полюс не открыли. Направили пароход на Мурман и, только в Екатерининскую гавань вступили, последнюю соринку угля сожгли и последний сухарь съели.

Капитан окончил свой рассказ и помолчал. Потом начал говорить так искренно, как говорят только очень близкие люди или совсем чужие.

— Вот я в своем деле уж, можно сказать, собаку съел, а не знаю, что завтра будет, и мучит это. Неужели же это жизнь? Какая это жизнь, какое это дело, что вот так, в одну минуту, все может перевернуться, как лодка? Скажите, что в вашем деле... что вы там делаете... в этом ученом деле тоже так?

Но в это время меня качнуло сначала к стене, потом назад, по направлению к крысам, потом прижало к краю койки.

Я не мог ответить так же искренно, в тон капитану, буркнул ему что-то и поднялся наверх, на палубу.

МОРСКАЯ КАЧКА

Да, это качка, настоящая морская качка... И что-то еще будет в океане? Что, если десять дней морской болезни? Вот поднимается нос парохода высоко к небу — и бух вниз, в волну. И на палубе кусочки пены тают, стекают водой. Меня шатает, весь свет перемещается, а я неловко остаюсь на месте один. Матвей внимательно смотрит на меня и говорит сочувственно:

— Море бьет?

Но я его сочувствия не принимаю. У меня складывается собственная система борьбы с морской болезнью. Медикаментов со мной никаких нет, да они и бесполезны. Врачи не знают причины болезни: одни говорят — от малокровия, другие — от полнокровия, третьи — от нервов. А мне кажется, что это от малодушия; морская болезнь — враг, который интереснейшее путешествие может превратить в сплошную пытку. Итак, у меня враг, с которым я вступаю в борьбу и живой не дамся ему. И прежде всего — никому не стану выказывать своего страха, буду веселым.

— Море бьет? — спрашивает Матвей.

— Нет, пустяки.

— А видал ли ты когда нашу погодушку?

— То ли видал!

Меня опять качает, и я едва удерживаюсь за веревку. Матвей недоверчиво глядит на меня. А я, как ни в чем не бывало, напеваю слышанную мною здесь песенку: «Черная юбка, белая кайма, любила я молодца, а теперь нема». Матвей мне подтягивает, другой матрос, третий, и вот, среди шума волн в море веселится матросская песня: «Черная юбка, белая кайма». Я считаю это победой и иду на кухню. Там самый дорогой теперь для меня, единственный в мире понимающий меня человек, кото-

рому можно открыть душу, — это кок, вологодский кок, весь грязный, с раскрытым ртом, с большими ушами. Еще с утра капитан стал приглядываться к нему и сказал мне:

— Опять сами готовить будем, море бьет. Четвертый уже так за лето. Как выедем в море, ляжет — и конец, и пролежит десять дней. Опытные не идут в коки, а новички болеют. Смотри-и-те, как рот разинул...

Так мне рекомендовал капитан кока, не понимая, что это самая лучшая для меня рекомендация. И вот теперь я, ободренный успехом у матросов, подхожу к нему и говорю покровительственно:

— Море бьет?

Он улыбается мне виновато.

— Тошне-хо-нько...

— Ничего, ничего, — ободряю я его. — Давай учиться ходить.

Мы начинаем с коком ходить по палубе, вернее, ползать. Матвей замечает нас, смеется и говорит мне:

— Сегодня поштормуем.

— Что это значит?

— А значит, что когда солнце в зюд-вест станет, то будет шторм.

— А это разве не шторм?

— Это не шторм, это свежий ветер. Вот когда песочек на палубу выкидывать будет да камешки фунтовые перекатывать, вот это шторм.

Я шепчу про себя что-то очень похожее на мольбу и спускаюсь вниз. Нужно как-нибудь бороться с врагом. Буду пробовать писать письмо. Беру чернильницу, перо и, хотя мы еще далеко не доехали до океана, пишу: «Сев. Ледов. океан, 70° сев. шир. и 70° вост. долг. Вот, друзья мои, куда я забрался...»

Вдруг я вижу: моя чернильница ползет по столу. Хочу поймать ее, она бежит скорее, падает вниз и исчезает в моем полураскрытом чемодане с бельем. Подхожу к чемодану, но меня бросает в капитанскую каюту на койку, где пищат английские крысы.

Шторм! И что теперь с коком? Скорее поднимаюсь наверх.

Он стоит у борта и кланяется морю.

— Тошнехонько... — еле выговаривает он виновато, но ободряется при виде меня.

А я замечаю, что у него в руке чайник, и радуюсь: кок не забывает своих обязанностей. Мне вдруг становится весело: шторм страшнейший, а ведь, в сущности, со мной ничего не было, и кок не выпускает из рук чайника. Я беру кока под руку, и мы проходим по палубе, ловко изгибаясь, как акробаты, ко всеобщему изумлению матросов.

— Не бьет море? — говорит Матвей.

— Видишь!

— Ну, моряк!

Победа, полная победа! Теперь уже конец, теперь я больше не заболею. А кок? Кок тоже не выпускает из рук чайника.

— Моряк, моряк и есть, — приговаривает всегда веселый Матвей.

СВЯТОЙ НОС

После крещения штормом я уже настоящий моряк и принимаю самое близкое участие в судьбе нашего маленького пароходика. Мы сидим с капитаном внизу, пьем чай и совещаемся. Чайник, для безопасности, стоит в деревянном ящике, а стаканы мы, конечно, держим в руках. Капитан недоволен: нас прокинуло в тумане, унесло с курса течением, мы не видали маяка на Орлове, не слышали и колокола, не слышали сирены на Городецком мысу. Если так будет продолжаться, и мы не увидим Канина Носа, то «Ольги» не встретим и привезем рыбу с душком. Я, как и капитан, тоже очень хочу встретить «Ольгу», потому что рыбное дело мне, испытавшему шторм, становится таким же близким, как и капитану. А, может быть, не рыбное дело, может быть, это зовет уже назад аккорд на пианино, взятый дамой на «Ольге»? Нет-нет, просто рыбное дело. Мы пьем чай, пока не слышим удара колокола. Это смена вахты. Сейчас придет матрос и позовет нас на смену штурману. Матрос спускается к нам.

— Берега не видно? — спрашивает капитан.

— Не кажет, — отвечает матрос.

— Компас?

— Норд-ост.

— На лаге?

— Не смотрел.

— Волна?

— Такая же.

— Вода?

— Океанская.

— Как океанская?

— Так, океанская, зеленая...

Мы всходим наверх. Попрежнему такие же черные волны выкатываются из серого тумана. Капитан берет белую деревянную чурочку, привязывает к ней гвоздь и пускает в воду. Чурочка медленно тонет и зеленеет, и чем дальше, тем ярче, и, наконец, где-то совсем глубоко, светится чудным, сказочно-заморским светом.

— Вода океанская, зеленая, — говорит капитан и недоумевает.

Дядя зачерпывает немного воды и пробует на вкус.

— Океанский рассол, — говорит он, — соленый. Попробуй, — предлагает он мне. — Нашего, беломорского рассолу для ухи нужно ложки две, а этого одной довольно.

Мы идем в штурвальную. Дядя сменяет матроса, становится на штурвал, а капитан отмеривает что-то на карте. Он делает предложение, что мы теперь находимся как раз на линии, проведенной от Святого Носа к Канину.

Но я с этим гаданием не мирюсь, и не потому, чтобы боялся опасности, а так неприятно, будто попал в неволю, будто вот закутали меня, как маленького, в тяжелую одежду, уложили в повозку, и мне нельзя шевельнуть ни ногой, ни рукой, а только пискнуть можно да и то бесполезно. Кто тут слышит в волнах? А, может быть, тут где-нибудь блуждает еще такое же судно, быть может, совсем близко.

— Что, если свистнуть? — предлагаю я капитану.

— Можно. Дерните за веревку, — соглашается он.

Я дергаю. Свисток гудит, но туман съедает звук, и никто не откликается.

— А что, если сядем на подводный камень? — спрашиваю я.

— Будем сидеть. Поедим всю провизию. Может, увидят.

«А, может быть, и не увидят?» — думаю я. И не мирюсь, и не могу мириться с этим положением.

— Как же так? — спрашиваю я капитана. — Неужели же нельзя как-нибудь определиться?

— Можно сделать астрономическое определение, — отвечает он, — но у нас нет теперь хронометра и секстанта. Обыкновенно мы определяемся у Городецкого, но теперь нас прокинуло течением в тумане, и где мы — точно сказать нельзя.

Дядя замечает мое смущение и говорит:

— Что это! Вот походил бы ты на парусной шкуне. Тут мы идем, красуемся, и ничего... А место опасное, тут много судов осталось.

Он рассказывает, что старики в его время и вовсе не ездили вокруг Святого Носа на Мурман. Они тащили суда по земле через Нос, но вокруг ехать не решались. Они думали, что около Святого Носа в воде живет червь и проедает суда. А потом кто-то этого червя заговорил, и он пропал, — и теперь все ездят вокруг Носа.

— Может быть, — говорю я старику, — червь тут не при чем, а просто старики боялись бурливого места, где встречаются течения, и выдумали червя, а молодые стали посмелее, и суда стали лучше.

— Отчего же, — отвечает он, — может быть и так; народ молодой, правда, посмелее, но только червь был.

Я не спорю со стариком, делаю вид, будто соглашаюсь. А он рассказывает еще более невероятные вещи.

— Есть, — повествует он, — на море такие люди... кто их знает, кто они такие, откуда они придут, куда они уйдут, но только ветры их слушаются. Как-то раз на Мурмане, осенью, когда промысла кончились, вышли промышленники на глядень *, сели у костра, глядят в море, дожидаются поветери в Архангельск. А уж недели две так без дела сидели, все дожидались ветра походного. И женки в Поморьи стосковались, ждут мужей домой. Но без ветра на шняке ** как попадешь? Сидят промышленники на глядне у креста, выпивают, ждут морского ветра. Видят сверху, будто в море судно бежит по ветру. Забежало в становище, вышел на берег старик, ражий, белый, как сметаной облит. С камешка на камешек идет на глядень. «Что за диво, — думают промышленники, — откуда экой старик взялся?» Пришел, смеется. «Дураки вы, — говорит. — Чего вы тут сидите, время провожаете?» — «А ты, умный, — говорят они, — отвези

---

* Высокая гора, с которой на Мурмане промышленники смотрят в море. На глядне всегда ставился большой крест.

** Промысловая лодка.

нас против ветра». Смеется старик. «А вот отвезу, — говорит. — Ставьте вина». Поставили ему вина, выпили вместе все. «Еще,— говорит, — ставьте». Еще выпили. «Теперь готовьте лодки». Приготовили лодки, подняли паруса. «Ложитесь спать!» — командует. А они, пьяные, как легли, так и заснули. Просыпаются, — Архангельск виден, и поветерь гонит. Подъехали к бару, сразу ветер переменился, опять прежний задул.

— А старик?

— Старик пропал. Как проснулись, так больше его и не видели...

УЛАГА

Морская качка на меня не действует, но я не желал бы быть всегда в таком состоянии духа. В душе священная тоска, будто вот-вот родится великая идея, но на деле не удается связать даже пару самых обыкновенных мыслей. И обидно: очень уж близко в таком состоянии духовное к низменному; вот-вот все разрешится таким жалким, плачевным исходом.

Я иду на корму: там меньше качает и никого нет, только Матвей сидит на канатах с ружьем и стережет касатку. Подхожу к борту, над самым рулем свешиваюсь. В таком положении мне кажется, что я лечу над океаном совершенно один, и парохода нет вовсе. Я лечу над самыми волнами, как чайка, и догоняю убегающие от меня в туман волны. И мне чудится, что океан живой и волны живые. Но в этом огромном, крепком, живом, где-то в волнах, звучит жалобный, будто детский, тоненький писк:

— Тинь!

— Что это? — спрашиваю я Матвея.

— Это лаг звенит, — говорит он. — Узлы отсчитывает... А замечаешь ли, как волна перепала? Верно, ветер переменится. Ч у е т в о л н а в е т е р.

— Как же волна может ветер чуять? — говорю я.

— А так, — отвечает он уверенно, — вот сейчас ветер такой же, а волна перепала. Отчего это? А вот бывает, что и вовсе тихо: табак просыпь, к ногам упадет, а море качается. Отчего это? Оттого, что оно чует ветер, чует погоду.

«Отчего бы это было?» — думаю я. — Оттого ли, что океан велик, и волнение из одного места передается в другое? Не может же быть, чтобы волна и в самом деле сама по себе чуяла ветер».

Волны ластятся к бокам парохода, выкатываются из тумана черные, подбегают к борту и рассыпаются белым и показывают,

что внутри их что-то зеленое. «Волны живые», — думаю я и опять свешиваюсь и лечу чайкой над океаном. И вдруг из большой волны выдвигается огромное черное чудовище, больше и больше, показывает черное острие и опять исчезает в воде.

— Касатка, — говорит Матвей. — Вон там сейчас опять покажется.

И наводит туда ружье.

И опять раздвигаются волны, опять показывается над водой чудовище, будто большая опрокинутая лодка.

Матвей стреляет.

Там, где было черное, клокочет белый водоворот, и потом все кончается, попрежнему катятся волны, и между двумя валами что-то красное, и один гребешок волны тоже красный.

— Кровь, — говорит Матвей. — Потонула. А ловко попало. Огромная касатка... пудов на пятьдесят, вот какая. В сердце попал, и утонула.

Во мне пробуждается охотничий инстинкт; я, как прикованный, смотрю на то место, где потонула касатка, и будто вижу, как она, умирая, медленно погружается на дно океана.

— Теперь ее акулы жрут, — говорит Матвей и смотрит тоже туда. — Так ее и нужно, а то она китов подрезает.

— А кит же больше?

— Больше, а не может против нее. Вот поди ты... Видел у ней востряк на спине? Вот им и подрезает. А кит — рыба хорошая, она к нам треску из окияна гонит.

— Кит добрый? — рассеянно спрашиваю я.

Матвей смеется.

— А уж этого я не знаю, добрый он или какой. Тоже кормится, промышляет себе в окияне, что ему назначено, рыба ли, зверь ли, гад ли какой. Тоже не дурак, своего не упустит. Но только человеку он очень полезен. Первое — зверь его боится, гребет от него к берегу, а потом рыба боится зверя и тоже плывет к берегу.

Мы уже давно проехали то место, где утонула касатка, но я все смотрю туда, и мне кажется, что она плывет за нами: такие же волны чернеют там подальше в тумане, и с зелеными шейками и в белых шапочках тут поближе, у борта. Мне ка-

жется, что и Матвей то же думает, что и я, и смотрит туда же, в глубину. Охотничий инстинкт, как канат, притягивает нас обоих туда, в глубину, где лежит теперь мертвая касатка, и где кипит своя, совсем не такая, как у нас, придонная океанская жизнь.

— А видал ли, как в окияне рыбу ловят?

— Нет, не видал.

— Любопытно. Чего-чего только там не нахватают со дна: и рыба всякая, и акула попадет, и мелочь там разная, рак часто-лапчатый, вроде как бы звезда, ежик, катушки разные — красненькие, беленькие. Много всего. Вот увидишь. Любопы-ытно! Теперь, надо знать, скоро ли приедем на канину отмель.

КАНИНА ОТМЕЛЬ

Капитан и штурман совещаются о том, канина эта отмель или еще нет. Они спорят и все разбирают записи из дорожного журнала. Мне кажется, вопрос этот решить очень просто: сосчитать число пройденных, записанных лагом верст, отложить циркулем на карте в данном направлении, и все. Я вмешиваюсь в разговор, беру циркуль и через пять минут устанавливаю искомую точку. Моряки смеются.

— А сколько нас, — говорят они, — отнесло течением? Положим, мы пошли на норд, сколько нас отнесло в сторону к норд-ост?

— Моряки, — говорю я, — должны знать силу прилива и отлива и сделать поправку.

— Этой поправкой мы и заняты. Если бы мы были на одном месте, то могли бы сделать поправку, но в разных местах течение различно, как же мы сделаем поправку?

Я мысленно прощаюсь с возможностью встретиться с «Ольгой», про себя боюсь даже, что почему-нибудь не удастся половить рыбу. Но моряки продолжают совершенно непонятно для меня совещаться и, наконец, решают, что это и есть начало каниной отмели. На огромном пространстве этой отмели, окружающей Канин Нос, глубина в среднем, как мне сказали, не более пятидесяти сажен. Дно отмели ровное, песчаное, и потому тут спокойно можно тащить по дну трал, не очень рискуя его порвать. К этой отмели мы и стремились.

— Она и есть, — говорит штурман, — волна дробится.

А капитан все присматривается к воде.

— Замечаете голубые полоски? — спрашивает он меня.

Я всматриваюсь, и мне кажется, что у самых белых гребней мелькают голубые пятнышки...

— Это, вероятно, — объясняет мне капитан, — ветвь Гольфстрема, вода в нем отличается от зеленой океанской воды голубым цветом. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но очень похоже, что это Нордкапское течение.

Я с величайшим уважением всматриваюсь в воду этого течения. Я привык еще с детства уважать Гольфстрем, как что-то весьма полезное и доброе; я знал, что без Гольфстрема значительная часть Европы превратилась бы в ледяную Гренландию. Но я никогда не знал, что Гольфстрем красив, что он голубой. И мне кажется полным значения то, что вот мы тут, далеко за полярным кругом, вблизи вечных льдов Новой Земли, любуемся голубыми блестками, прибежавшими сюда из тропических стран. Тут непроницаемый туман, а там сейчас голубое глубокое небо. Я вспоминаю, что где-то читал, будто в Ледовитый океан Гольфстрем приносит растения с Антильских островов. Спрашиваю моряков, не видали ли они чего-нибудь в этом роде.

— Нет, этого не видали, — отвечает дядя, — а вот бутылки с Нордкапа приносит... с записками. Туристы англичане бросают бутылки с записками.

— Нет, — говорит капитан, — здесь плавают бутылки скорее мурманской промысловой экспедиции. Они исследуют течение.

Капитан рассказывает мне о значении Гольфстрема для трески. По течению его треска плывет, как по огромному корыту, от Нордкапа вдоль Мурмана и, вероятно, здесь заворачивает к Новой Земле.

Чтобы убедиться окончательно, что это канина отмель, мы измеряем глубину и исследуем грунт. Для этого быстро спускаем на веревке лот, смазанный салом. Лот ударяет о дно и приносит песок. Глубина пятьдесят саженей. Канина отмель...

ЛОВ РЫБЫ

Раньше, пока на воде было все так ново для меня, я не интересовался техникой лова рыбы на траулере. Но теперь, когда через несколько часов на палубе парохода будет видна придонная жизнь океана, становятся интересными всякие мелочи. Самый принцип оказывается прост и остроумен. В воду спускаются на стальных канатах два змея, большие, деревянные, окованные железными скрепами. Пароход движется вперед, и змеи буквально летят в воде, как в воздухе, расходясь в разные стороны от сопротивления воды. К этим змеям, или, как их называют, «распорным доскам», прикреплена большая, крепкая сеть — трал. Расходясь в стороны, змеи расширяют отверстие трала, и туда входит встречная рыба. Посредством изменения длины каната, троса и скорости парохода регулируется глубина опускания сети. На нашем траулере нужно было спустить приблизительно две глубины каната, то-есть около ста сажен, чтобы она шла, как требуется, почти по самому дну. Трал, стальные канаты, паровая лебедка, на которую навертываются канаты, система блоков, «талей», для поднимания тяжести мотни,— вот и все простое устройство.

Настоящая жизнь на нашем траулере началась, только когда мы приехали на канину отмель.

— Отдай лебедку! — командует капитан.

Черные распорные доски гремят и погружаются в воду глубже и глубже.

— Стоп! Закрепи лебедку!.. Полный ход!

Теперь, когда трал спущен, на два, на три часа все замирает в ожидании. Один только тральщик Матвей стоит на корме, сосредоточенный и серьезный. Он держится за стальной канат и по нем, как по нерву, чувствует прикосновение распорных досок ко

дну. Он должен постоянно ощущать эти легкие толчки трала. Если этого нет, то, значит, трал плывет высоко, и рыба не попадает. А если почувствует очень сильный толчок, значит трал зацепился, и нужно кричать машинисту: «Стоп!»

Динь! — звенит предупреждающий машину сигнал о том, что через пятнадцать минут мы вытащим рыбу.

И как это странно: в ожидании поднятия трала, вместо того, чтобы представлять себе различных океанских чудовищ, вроде акул, касаток, белух, я нахожу себя далеко отсюда, на льду замерзшей реки. Я и несколько простых, но очень почтенных пожилых людей проделываем во льду маленькие дырочки и спускаем туда нитки с крючками. Мы стоим, дрожим, топчемся, чтобы разогреть застывшие ноги; у почтенных людей бороды покрываются ледяными сосульками. У одного дергает рыба, он смешно волнуется, схватывается за удочку и тянет. И тут у него лицо загорается какою-то особенною жизнью. Слышно, как город шумит, кипит жизнь, борьба. А вот он, этот почтенный человек, тянет маленькую рыбу и живет какой-то своей, совсем особенной, смешной жизнью. Он, этот старик, тянет рыбу и будто откликается прошедшим тысячелетиям, когда, быть может, его предки бродили у лесных ручейков. Старик тянет рыбку, и вот, через много-много лет, перед целым океаном воды, я вижу ясно эту затянутую тонкими льдинками дырочку, покрытую ледяными сосульками, заиндевелую бороду и что-то такое близкое, дорогое в его глазах. Вот если бы нам теперь опять сойтись вместе, здесь, у борта «Николая».

— Стоп! Отдай лебедку!

Лебедка крутится, канат навертывается, трал приближается. На вахте должно быть только пять человек, необходимых для поднятия трала, остальные должны бы спать, отдыхать. Но они тут все до одного, смотрят в воду. И даже кок с разинутым ртом и с чайником в руке, и машинист, и кочегар, весь черный, выползли из машины. Все молчат, ждут. Откуда-то налетели птицы... Как они почуяли добычу? Раньше я их почти не видел. Они подплывают к самому пароходу, красивые, похожие на голубей, но только большие.

— Как они называются? — спрашиваю я Матвея.

— А глупыши, — отвечает он мне.

— Какая красивая птица, и такое глупое название. Почему глупыши?

— Вот почему, — говорит тральщик и бросает в них обрывками каната. Птицы взлетают и сейчас же, как ни в чем не бывало, садятся на то же место и даже еще ближе подплывают к борту.

— Глупые они, вишь, не боятся... — поясняет Матвей, — теперь от нас не отстанут. И потом, когда назад поедем, верст сто за нами лететь будут. Глупые...

И вот показываются из воды черные распорные доски.

— Стоп!

Доски висят в воздухе.

— Вручную! — командует капитан.

Это значит, что концы сети нужно тащить руками, пока не покажется мотня, наполненная рыбой. Мотню, конечно, тяжелую, до трехсот пудов, поднимут блоками.

«Вручную!»

И все действующие лица хватаются за сеть. Борт судна от качки то опускается, то поднимается, а матросы, когда опустится борт, прижимают грудью сеть; волна сама уже поднимает ее; рыбаки быстро перехватывают и опять припадают грудью, и каждый раз все оглядываются в глубину: не показалась ли мотня. Момент напряженнейшего ожидания. Не только люди ждут, но и птицы кольцом окружают место, откуда должен выглянуть трал; люди и птицы образуют полный, почти правильный круг. Но мотня еще глубоко, сеть, черная над водой, зеленеет в воде и светится в глубине, а самой мотни не видно. Показываются пузыри, множество пузырей, вода закипает.

— Рыба кипит! — говорит кто-то.

— Рыба кипит! — повторяют один за другим матросы.

Всплывает большая, в аршин длины, белая рыба с красивой черной полоской на боку. Это пикша, ближайшая родственница трески, оглушенная. На нее бросаются птицы, тукают об нее своими острыми клювами, плещутся, кричат, пищат. Дядя берет багор, вступает с птицами в борьбу и на острие вытаскивает рыбу. Всплывает другая, третья, но на них больше не обращают

внимания, потому что в глубине показывается мотня, огромная, зеленая, всплывают какие-то странные нити, кустики, растения или животные.

Больше всех действует тральщик Матвей, он — душа всей этой возни. Мне из маленькой стеклянной комнатки, штурвальной, видно, как он борется с волной. Я вижу, как он, весь мокрый, выхватывает у волны сеть, вижу, как ближе и ближе подвигается зеленое чудовище. И не выдерживаю своего созерцательного положения. Я бросаюсь в самый центр рыбаков и хватаюсь за сеть, слышу, как возле меня дышит Матвей, пыхтит капитан, но уже не вижу их: я тяну. Тяну и припадаю к мокрой сети грудью и не замечаю, что холодная морская вода проникает через жилет к телу и стекает вниз, наполняет сапоги. Лишь бы подвинуть на четверть.

— Готово!

Мы припадаем к борту и вглядываемся все молча: дядя, Матвей, капитан, юнга, все такие разные люди, но теперь слитые в одно мокрое, но крепкое, наполненное горячей кровью и мясом.

— Акула! — кричит дядя.

— Акула, акула! — говорят все.

— Где акула? — тороплюсь я, словно боюсь упустить и отстать.

— Вон лежит, вон свернулась, вон ее пасть, вон хвост...

Я приглядываюсь и в огромной серой массе различаю пасть и крошечный зеленый светящийся глаз. Нам подают канат. Матвей перевязывает мотню, прицепляет ее к блоку. Лебедка гремит, и над палубой парохода висит большой черный воздушный шар, наполненный рыбой.

Бегу смотреть, что в нем, но от него исходит невыносимый запах. Отступаю назад.

Это не запах рыбы. Рыба в сравнении с этим хорошо пахнет. Это особый запах морских глубин, внутренности моря. Кажется, что на дне мы шевельнули кладбище бесчисленных морских покойников.

— Какие нежности! — удивляется капитан. — Просто мы губки захватили много, оттого и пахнет. Этот запах хороший, здоровый, к нему скоро привыкаешь, и даже нравится потом.

И в самом деле, после, на берегу, я вспомнил этот запах почти с удовольствием. Так нравится уютный теплый запах животных в стойлах, вызывающий в памяти дорогие сцены толстовских рассказов.

Матвей развязывает отверстие внизу мотни, и вот, с особым скользящим звуком, как ртуть, рассыпается по палубе рыба. Сначала трудно что-нибудь понять в этой массе, она вся прикрыта серым слоем губки, только в середине видны стальная спина, пасть и хвост огромной акулы. Но вот сквозь толщу пробивается энергичная голова, пятнистое туловище. Это зубатка, морской волк, рыба до пуда весом. Мне кажется, что более выразительного подтверждения о зачатии зла самой природой я никогда не получал, чем в тот момент, как увидал эту страшную рыбью старушечью голову с острыми зубами. Какая же возможна борьба с этим явным зубатым злом!

Так в море, но на палубе находятся более острые зубы. Капитан почему-то предоставил головы зубаток матросам, а так как голова стоит пятачок, то матросы, вооруженные финскими ножами, прежде всего ждут появления из серой массы старушечьей головы. И, как появится, бросаются за ней, утопая по колено в рыбной скользкой массе. Кто раньше выхватит, тот и отрежет ножом злую голову и начинает издеваться, как в сказке над злыми колдуньями: сует в рот мертвой голове рыбу, пасть сжимается, рыба хрустит. Потом дают голове уцепиться за канат. И все смеются, что отрезанная голова живет. Это забава, отдых рыбаков, совсем и не понимающих, как это отвратительно. У кого голова, у кого две, у кого три. Но больше всего издеваются над акулой. Она — гроб моряка, и вот, может быть, потому так тешатся надней. Юнга сует ей в пасть топор, и пасть захлопывается. Туда бросают рыбу, суют пешню. Старик дядя устал, присел на нее отдохнуть, вытирает, как ни в чем не бывало, пот с лица рукавом. Потом, отдохнув, выбирает себе какую-то рыбку и зачем-то скребет ее ножиком. Но вдруг впереди себя, на носу, он замечает непорядок и, забывая, что под ним не пень, а живое существо, втыкает в нее ножик и бежит, хлюпая по рыбе. Нож долго остается воткнутым в рыбу. Акула его, кажется, и не чувствует, так она огромна и неподвижна. Она путает все

мои представления об этой рыбе, которая, как описывают, мечется по палубе корабля. Быть может, это потому, что описывают акул южных океанов, а это акула глубоководная и тут, наверху, совершенно лишается способности двигаться. Акула Северного Ледовитого океана лежит на палубе, неподвижная, как мертвый пласт. Чуть только поводит плавником и глядит своим маленьким зеленым глазком. И как же, вероятно, она страшна там, на дне океана, темносерая, как раз такого цвета, чтобы незаметно подкрасться к добыче и показаться сразу огромною серою тенью с зеленым светящимся глазом. Рыбаки разрезают живот акуле, чтобы достать из нее ценную печень, и вот выплывает целый поток мутной жидкости; вместе с жидкостью из акулы выкатывается небольшой мертвый тюлень и много рыбы, еще живой; рыбу обмывают и присоединяют к остальной, а акулу, вырезав из нее печень, поднимают на блоках и пускают обратно в океан. Она медленно погружается в воду и зеленеет, и в самой глубине принимает странные, фантастические формы.

Но это все поэзия. Капитану некогда заниматься такими пустяками. Вооружившись стальным коротким крючком, он раз за разом втыкает его в рыбу и разбрасывает ее в стороны по сортам. Вот треска — кормилица Севера — здоровенная рыба, упругая, будто обтянутая в городское платье деревенская девушка; вот родственница ее — пикша, серебристая с черной полоской и менее вульгарная; вот сайда, из той же породы. Камбала морская совсем не похожа на рыбу, скорее — это морские листики, бурые с одной стороны, и белые — с другой. Листики летят в одну сторону, треска — в другую. Капитан, веселый, шутит, подсчитывает итог приблизительно в сто пудов. Он пересматривает рыбу и вдруг останавливается и машет мне рукой: он под слоем рыбы заметил характерную генеральскую голову палтуса. Эта рыба такая же видом, как камбала, но только черная с одной стороны и огромная: пудов в пять весом. Рыба дорогая, она одна обещает капитану рублей пятьдесят. Он любовно треплет ладонью мокрого генерала и кричит матросу:

— Сделай ему карман!

Это значит как-то особенно распластать палтуса. Матрос делает карман, а капитан продолжает перешвыривать листики.

Мне, дилетанту, рыболову с удочкой, едва мирящемуся с насаживанием червяка, это зрелище не особенно приятно. И вот, к своему величайшему удовольствию, нахожу себе товарища, такого же дилетанта, как и я. Машинист, на корточках, с ведром в руке, отбирает себе крабов, морских ежей, звезд, забавляется раком-отшельником, старается выгнать его из раковины. Все это он хочет засушить и показать своим детям дома. Я присоединяюсь к нему, беру ведро и наполняю разными морскими животными. Все они, красные, зеленые, желтые, стараются выкарабкаться из-под давящей их тяжелой массы рыбы и губки. Я освобождаю их, пускаю в воду, и они, благодарные, начинают мне кивать оттуда своими лапками, усиками и щупальцами. Но моя мирная освободительная работа снова отравляется отвратительным зрелищем. Кок, тот самый кок с чайником, которого я ободрял во время качки, прицепил на удочку рыбку, закинул в стаю птиц и торжествующе тянет несчастную на палубу. Я освобождаю птицу, но кок недоволен и принимается швырять губкой в глупышей. Это занятие увлекает матросов, и вот все они начинают попадать губкой в птиц. Крик, писк, хлопанье крыльев, хохот матросов, запах морской глубины, и эта масса животных, и безграничное пространство воды, и мутное пятно солнца над океаном — все это мне кажется какой-то пляской морских чудовищ с рыбьими хвостами, звериными копытами и человеческими головами. Водки бы сюда, но водка не допускается капитаном.

ПОТОРЧИНА

Окруженный волнами, силы я все
истощил на неверном плоту,
Не вкушая столь долго пищи, покоя и сна. *(Одиссея).*

Мы ставим большой поплавок с флагом на якоре, буй, отмечаем этим найденное рыбное место и ездим вокруг него, вытаскиваем трал через каждые два-три часа. И так — почти целую неделю. Редко-редко выглянет из тумана солнце, посветит два-три часа, покраснеет и снова в тумане, потому что постоянный NO всегда сопровождается туманами. Наконец наступает давно жданный день: встреча с «Княгиней Ольгой». Но надежды на встречу мало, потому что мы так и не видели Канина Носа и не определились, да и день туманный. Но кто знает, может быть, и встретим, услышим свисток. Я сижу в штурвальной, напряженно вглядываюсь в туман, слежу за стрелкой компаса и время от времени даю свистки на случай встречи с другим пароходом.

Как-то раз я вижу, что дядя мне машет руками, что-то кричит. Что такое? Свисток! Он слышал свисток! Я даю свисток, но ответа нет.

— Ты ослышался, старый?

— Нет же, своими ушами слышал, вон там.

Я вглядываюсь в то место, где он слышал свисток, и мне кажется, что там мелькнуло что-то темное в тумане. Еще и еще. Какая-то темная тень колышется на волнах. Судно, «Ольга», нет сомнения, что это «Ольга».

И как я жду! Чтобы понять меня, нужно вот так, как я, проплавать в океане больше недели, нужно спать возле крысиного гнезда при грохоте распорных досок у самого уха, нужно промокнуть, пропитаться и пропахнуть рыбой. Вот тогда можно

меня понять, как я жду «Ольгу». Я вижу, как растет тень судна в тумане. Мне кажется, что я уже слышу аккорд и вижу даму в черном плаще, с дорожной сумкой через плечо. Мгновенно созревает план: бежать отсюда, ехать на Новую Землю на «Ольге» и вернуться с ней в Архангельск. Я даю тревожный свисток, мне не отвечают, а темное растет и быстро приближается. Это не судно, это большой кит плывет нам навстречу.

— Это кит, дядя?

Дядя молчит и внимательно смотрит. Матросы тоже бросают чистить рыбу и смотрят на нос. Дядя идет даже к борту.

— Кит? — опять спрашиваю я.

— Не похоже, долго держится.

— А что же это?

— Так, приплыш. Мертвечина. Кит ли дохлый, касатка, зверь или что...

Приплыш уменьшается вдвое, втрое, словно тает в тумане.

Дядя готовит багор, чтобы схватить его. Но он делается совсем маленькой черной точкой. Дядя смеется и говорит:

— Поторчина.

Хватает багром, вытаскивает на палубу кусок дерева. Это просто насыщенный водою кусок дерева, торчком плывущий в тумане, больше ничего.

— Поторчина, — опять говорит дядя и бережно обтирает ее полой.

— На что она тебе?

— А от клопов годится, первое средство...

И вот все, что осталось от «Великой княгини Ольги», созданной океанской иллюзией: какая-то глупая поторчина.

Вдруг я отчетливо слышу свисток, совсем близко. Я отвечаю, мне тоже свистят. С каждой минутой мы приближаемся, беспрерывно свистим друг другу.

«Ольга»! — теперь уже нет никакого сомнения. Мне кажется, что и «Николай» совсем уж не так хрипло свистит и будто дрожит от радости; стрелка компаса совершает чуть не полные обороты, а сам я решаю определенно бежать отсюда.

Судно показывается в тумане, и с мачтой, и с трубой. Это уже не поторчина. Но еще мгновение — и перед нами не «Ольга»,

а «Николай», не самый «Николай», а двойник его, абсолютно такой же: с распорными досками на боках и с косым парусом назади. Мне даже немножко страшно, будто галлюцинация! Но через мгновение «Николай»-двойник почти у самого нашего борта. На вышке стоит с рупором в руке известная всему миру, всегда неизменная фигура в серой клетчатой одежде, с окаменелым лицом, с холодными, стальными глазами. Английский траулер. Англичанин спрашивает нас, кто мы, откуда. Мы говорим: русские, архангельцы. И тогда даже на его деревянном лице выражается изумление: „Archangel!“ — протягивает он. До сих пор у архангельцев не было траулера. И хотя тут и нейтральные воды, но все-таки иностранцам неловко: очень близко к границе. Англичанин задает нам несколько вопросов о рыбе и, отъехав немного, спускает в воду трал. Немного спустя мы встречаем еще одного англичанина, потом еще, потом норвежца, и все ездим вокруг нашего буя и время от времени свистим друг другу в тумане. Наши моряки ворчат, они совсем неосновательно считают эти воды русскими. Но я рад этим соседям. Рад думать, что вот хоть в океане нет этой границы между нашим и вашим.

Так проходит день, полный событий, неожиданных встреч, но «Ольги» все-таки нет. Я жду ее весь день до ночи, свищу; отвечают английские и норвежские траулеры, но «Ольги» нет. Наше свидание не состоялось, и, полный самых грустных размышлений о предстоящих скучных, одиноких днях в океане, я спускаюсь вниз и засыпаю на своей койке, тщательно заколотив отверстие к крысам.

ГОРНИЙ ВЕТЕР

Я не имел понятия, что значит в море перемена ветра; если бы я мог предчувствовать, что значит в Ледовитом океане ветер с земли, «горний ветер», то в ожидании его как скрасились бы последующие скучные дни в море!

И вот утром матрос мне говорит внизу в каюте:

— Ветер горний, зюд-вест; посмотрите, какая краса!

Я поднимаюсь наверх и не узнаю моря. Солнце ярко сверкает, и туман бежит клочками, как разбитое войско; ни малейших следов волны, только медленное дыхание, будто грудь спящего человека. Где-то далеко в синеве белеет чайка, как последний оторванный кусочек вчерашней океанской пены. Но главное — ветер, ласковый, родной. Я вдыхаю и ясно чувствую запах сена, цветов, тут, в океане.

— Чувствуете, — говорю я штурману, — аромат?

— Еще бы, — отвечает он радостно, — берегом пахнет. При этом ветре всегда в океане берегом пахнет.

Берег дышит на нас ароматом, — и штурман поверяет мне свои мечты. Ему бы хотелось больше всего поселиться на берегу, где-нибудь у озерка, и ловить рыбу.

Я его поддерживаю: правда же, хорошо.

Мы мечтаем об озерке и удочке и смотрим, как на носу, на фоне синего теперь океана, рыбаки сидят на опрокинутых ведрах и чистят уже третью тысячу пудов рыбы. Они бросают в море головки мелкой рыбы, и они там, в воде, зеленеют и светятся, манят акул, а трал захватывает их, вынимает из моря на палубу.

И как это странно: мечтать о лужице и удочке на берегу в виду целого океана воды. Но что же делать, пахнет берегом, таково свойство аромата земли.

— Я уже сделал первый шаг, — говорит штурман, — женился...

— И лучше стало?

— Много лучше. Теперь уж я знаю, куда приеду, зачем приеду. А бывало, выйдешь на берег и пустишься, ка-ак шальной олень. Напоят тебя, оберут. В одной рубашке приползешь к кораблю на четвереньках. Наверх уже лебедкой поднимают. Да в наказанье другой раз лишат берега. А как моряку без берега!

Я смотрю сверху на Матвея и не могу не улыбнуться ему. Ветер с земли и аромат ничуть не волнуют его, он попрежнему спокойно чинит трал, но здоровье так и выпирает на его красное курносое лицо, и он без мысли улыбается, просто от теплого ветра.

— Ну, а ты, Матвей, женат?

— Не-ет...

— А как же?

— А так, мне и без бабы хорошо. Путаться с ней. Денек-два побыл на берегу — и в море. В море хорошо, всей грудью дышишь. Ишь, благодать какая!

И он вдыхает аромат воздуха.

Но всем, кроме Матвея, хочется на берег, всех волнует этот береговой ветерок. И все делают намеки капитану. Нехватает веревочек для починки трала. Провианта мало. Машинист что-то толкует о масле. Капитан мрачен: соли нет, рыба портится, а лов хороший.

— Да что вы, сговорились, что ли, все! — восклицает он и, мрачный, спускается в трюм.

— Сходи, сходи, — смеется юнга, — я тухлую рыбу наверх положил, понюхай.

Из трюма капитан появляется еще более мрачным, но с готовым решением.

— Зюд-вест! — говорит он штурвальному.

Пароход повертывается и полным ходом летит в ту сторону, откуда дует береговой ветерок.

1933 г. Август

Так мне посчастливилось в свое время ездить на первом русском траулере. В 1933 году в Мурманске я застал их шестьдесят, при твердом намерении руководителей рыбопромышленного

Севера в ближайшее время довести число траулеров до трехсот. Производительность тралбазы, намеченная по плану в 34 082 центнера, превзошла план и достигла 46 192 (135 процентов). Эти траулеры совершают **комбинированные** рейсы, значит часть рыбы на месте засаливается, а другая часть доставляется в свежем виде и поступает на холодильник тралбазы, представляющий собой громадный зал, освещенный электричеством и с надписью на двери: «Граждане, берегите холод». Для осмотра всего огромного рыбозавода мы истратили почти весь день, и под конец вдруг нечаянно, как это бывает, я вспомнил, что хозяином первого траулера, на котором ездил я на канину отмель в 1906 году, был капитан Копытов. «Жив! — сказали мне. — Есть капитан Копытов». Для точной справки мы отправились в контору, и тут оказалось, что Копытовых не один, а несколько капитанов на траулерах. Однако возраст всех их не подходил к моему капитану, и скорее всего это были его дети.

АНАРХИЧЕСКАЯ КОЛОНИЯ

СЕВЕРНЫЙ ОРЕХ

Из разорванных утренних туманов показывается черный Мурман, будто старик с седой бородой.

Мы теперь в ближайшем соседстве с Норвегией; самое слово Мурман происходит от норвежского Норман. Наш пароход быстро бежит навстречу этому старому деду, одиноко стерегущему здесь, в Ледовитом океане, наши зеленые поля и города. Туманы поднимаются выше и выше, и вот перед нами не старик, а древний окаменелый слон: свесил громадный хобот в океан и пьет воду. Кожа старая, землистая, слежавшаяся в складки. Но утром, когда солнце разгоняет туман, и камень живет. Черный лоб краснеет, разглаживается, приветствует, радуется, как только может радоваться старый окаменевший слон. Теперь мы уже различаем в складках скал белые клочки снега, последние следы недоверия на морщинистом лбу.

— Красиво? — говорю я капитану.

— Что красиво?

— Эти горы... и все... так...

Капитан думает, что красивым можно назвать только берег, усеянный селами, городами; зеленеющий, но черный Мурман... камень... без малейших признаков жизни...

— Красивая земля, — не очень искренно соглашается он, — но что на ней? Пустая.

— А море! — говорю я, указывая на спокойные валы зыби, от которой у скал непрерывно взлетают высокие белые фонтаны.

— Да, море... море... да...

Я заражаю его, привыкнувшего ко всему этому, своим интересом к этой новой для меня природе. Он вглядывается в берег,

будто увидел его в первый раз. Но через минуту вспоминает, что у него какая-то практическая цель, нужно что-то погрузить, выгрузить, забывает о красоте черных скал над океаном и дает условный свисток. Горы откликаются, высылают из трещин лодку, другую, третью...

— Тут целый флот!

— Это еще что! — отвечают мне. — А бывает, народу — глядеть не переглядеть, считать не пересчитать, растянутся по морю, что лес, облепят пароход, что мухи.

Лодки — большею частью те знаменитые мурманские «шняки», на которых промышленники выезжают далеко в океан ловить рыбу и постоянно гибнут на них. Это те шняки, которые на Севере служат символом русской культурной отсталости и постоянным предметом насмешек соседей-норвежцев. Между шняками попадаются и красивые, похожие на античные суда, «елы», более совершенные лодки, но и то уже оставленные норвежцами, применяющими теперь безопасные палубные боты.

Лодки и елы тесным кольцом окружают пароход, стучат друг о друга. Здоровенные поморы прыгают из одной в другую, то ругаются, то хохочут: всем хочется раньше попасть на пароход. Взбираются на палубу, ворочают бочки. Одному великану, я вижу, не терпится; он, не дожидаясь помощи машины, поднимает бочку на борт и... бух! лодку внизу заливает наполовину водой. Общий хохот.

Здоровая, веселая, свободная жизнь, совсем незнакомая жителям средней России и даже тем деревенькам Беломорья, которые расположились на Летнем берегу, против Соловецкого монастыря. Сюда, на Мурман, ездят только те поморы, которые живут на западном берегу Белого моря, которые, собственно, и называются на Севере «поморами».

— Хорошо! — говорю я нашему капитану.

— Ничего, — отвечает он, — народ хороший. Грубоваты только. Да это ничего. Северный человек — орех, его раскусить нужно.

— Поезжай к ним, — советует старик, — посмотришь. Через неделю пароход придет, и уедешь.

— Не-де-лю!

— Что тебе неделя? Все равно веку итти.

В самом деле, — думаю я, — что такое неделя? А для сравнения с Норвегией, в которую я поеду, хорошо побывать среди этих великанов, потомков новгородских дружинников. Беру свой чемодан и спускаюсь вниз.

— Можно? — спрашиваю одного, другого, третьего.

Никто не отвечает. Один, опираясь на мое плечо, перескакивает в другую лодку, другой наступил на чемодан. Между этими людьми я становлюсь маленьким, исчезаю.

— Можно?

— Сиди-и... Сел — и сиди. Сиди и сиди!

Везут и высаживают на голые скалы «Под пахтой», как называют тут небольшую бухточку между горами (пахта — гора).

— Это становище?

— Нет, это Пахта. Становище далеко, версты две.

— Я просил вас свезти меня в становище!

— Ты просил, а мы тебя не просили! Сам сел. Да чего тебе... Мужик ты дородный, клади чемодан на плечи да по горам... Шагом марш! Тропинка есть, славно дойдешь. С богом! Вон тропинка.

Одет я, как барин; во всяком другом месте, в чаянии двугривенного, мне сделали бы все. Но тут — ни малейшего поползновения; еще мне в насмешку дадут, если я предложу.

Вот он, северный-то народ... «Северный человек, — будто все еще слышу я слова капитана, — орех, его раскусить нужно». Раскусить, так раскусить, делать нечего. Я вскидываю себе на плечи чемодан, пуда в два-три весом, и поднимаюсь на скалы.

— Вот так, — слышу я за собой. — Вот так, иди и иди. Шагом марш! Тропинка приведет к месту.

Какая это тропинка! Тут на голом камне и не может быть тропинки. Это просто едва заметные пыльные следы ног пешеходов на черных камнях гранита. Я поминутно теряю след и то поднимусь слишком высоко, то опущусь до какой-нибудь расселины, которую нельзя перейти, и снова возвращаюсь искать следы ног на камнях.

Раз так я поднимался к отвесной стене над морем и заметил, что из трещины скалы свешивается пучок лиловых колоколь-

чиков. Заинтересованный, как они держатся на голом камне, как они могли тут вырасти, я осторожно протягиваю руку вниз, срываю. Настоящие сочные цветы и пахнут свежим лугом, как пахнут непахучие цветы. Они устроились здесь в трещине скалы. Разглядывая цветы, я вдруг замечаю, что край моего пальто показывается то на фоне черных камней, то над зеркалом воды. Другой край тоже покачивается: пуговицы, цепочка. Я понимаю, что это от морской качки, но странно то, что я сам смотрю на себя, сознаю и не останавливаюсь, будто это не привычка, приобретенная на судне, а скалы над океаном качаются. Спешу уйти вниз, спускаюсь к зеленоватому местечку. Это озерко, окруженное мхом. Тропа упирается в воду: глубоко, нельзя перейти. Что бы это значило? Приподнимаюсь наверх поискать новую тропу и вдруг понимаю, что это не озерко внизу, а временная вода океанского прилива. Чтобы ориентироваться в местности, я поднимаюсь еще выше и вдруг вижу, что я подошел почти к самому становищу.

Две высокие, уступчатые, будто искусственно сложенные из больших черных камней горы, с восьмиконечными крестами наверху, стерегут множество лодок в бухте. Гора с крестом и есть, конечно, тот гляденъ, про который мне много рассказывали. Отсюда поморы ждут судов с моря, ждут погоды, здесь устраивают иногда и свои пиры.

Судов так много, что едва заметна вода; не видно, где начинается берег, на котором приютилось множество домиков с плоскими крышами, похожих отсюда нето на самовар, нето на печь, потому что над ними иногда возвышаются железные трубы. Чего же лучше! Весело, свободно. Небольшое усилие над собой — и я прислоню сюда свою лодочку и заживу припеваючи.

Мои мечты носятся в воздухе, совсем как эти серебряные чайки, крачки, кривки, поморники, зуйки.

Сгорает одна папироска, другая, третья; становится нехорошо, попадается мысль: северный человек — орех, его еще раскусить нужно. И тут я замечаю, что там, где было озеро, окаймленное зеленым мхом, — теперь черное, покрытое грязными водорослями место, виднеется и тропа на нем.

Надо итти, надо раскусить северный орех.

ЗВЕРОБОЙ

Внизу путаница еще больше, чем наверху. Вот, кажется, тут тропа, тут и пройти можно между двумя станами. Прохожу, но третий стан загораживает путь, и на крыше зуек бьет в таз-барабан, а другой подкатывается под ноги. Здесь висит огромная сеть, там сушится рыба с отвратительным запахом; вот бочка со смолой, якорь, лодка. Сразу видно, что тут некому прибрать, что тут живут одни мужчины, без жен. Припоминается, как хорошо там, в Поморьи, у жен этих рыбаков: все устроено, все вычищено, все дожидается благополучного возвращения главы семейства.

Мне нужно разыскать здесь двух людей: знаменитого помора, по прозвищу Зверобой, и колониста Вичурного. Первого мне рекомендовали как «законника», интересного человека; второй — колонист, значит — постоянный обитатель Мурмана, и, значит, у него есть баба, которая и уху может сварить и самовар согреть.

Я хватаю одного, подкатившегося мне под ноги зуйка и велю вести сначала к Зверобою.

Но Зверобой, оказывается, тут же и живет на своей собственной шкуне, обнаженной отливом, подпертой чем-то, чтобы не упала.

Взбираюсь на шкуну. Никого нет, тишина, как на судне Моряка-Скитальца.

— Отзовись, живая душа!

В ответ из люка показываются голова, похожая на моржовую, но без клыков, потом гигантское туловище, одетое в самоедский широкий савик, ноги в тюленьих сапогах. Мне показалось, что и лапы его покрыты моржовой шерстью, но это были такие рукавицы.

«Вот он, орех-то», — думаю я и называю себя и лиц, рекомендовавших меня.

— А по какому же делу вы к нам жалуете?

— Любопытствую, как живете.

— От статистики или от редакции?

— Пожалуй, от редакции.

Как только я сказал слово «редакция», помор преобразился.

— Ну, иди, иди сюда, в каюту, чайку попить, будешь гость дорогой. Поговорим. Я бывалый, я тебе все расскажу.

Мы идем вниз, в заботливо убранную каюту.

Тут сразу видно, что хозяин — «помор» в том особом смысле слова, которое придают ему здесь. Помор — это что-то вроде дворянина. Поморье — это не весь берег Белого моря, а только несколько богатых сел, ведущих торговлю с Норвегией.

Это единственный, мне известный угол России, где люди гордятся своей родиной. Поморов принято считать цветом русской народности, но сами они не любят связывать себя с Россией.

Помор ставит самовар, а сам приговаривает: «Я наскажу, наскажу. Есть у нас в Поморьи народ, вот бы вам где побывать, людей повидать».

Я сказал, что видел Поморье.

— Неужели? — встрепенулся он. — И в Суме был?

— Был.

— А лавку там видел?

— Видел.

— А повыше дом, белый?.. Ну, так это мой!

Так вкусно о доме может сказать только моряк. Я сразу вспомнил типичный, продолговатый, похожий на корабль дом.

— А, так вы в Поморьи были... видели. Хорошо ли живем?

— Хорошо!

— Вот то-то... А ведь мы не от России дышим. Что нам Россия: позади мох, впереди вода.

Тут мне почему-то вспомнились цветы на окнах поморских домов, удивившие меня после тягостной картины жизни Летнего берега.

Я сказал о них хозяину, чтобы сделать ему приятное.

— Души не морим, — ответил он гордо, — сыто живем.

Слышно, как живем! У нас рупь за рупь не считают. Есть промысел, так и по три лампы зажигаем. Светло живем, всю ночь огни светятся. Женки наденут башмаки новые, платье новое, сарафанчик гарусный, про юбку и говорить нечего...

Я почувствовал вдруг, что мои слова о Поморьи были лучшей моей рекомендацией. А Зверобой с этого момента перешел на «ты».

— Так вот ты какой, в Поморьи бывал. А от какой же ты газеты приехал?

Я назвал какую-то газету. А помор раскладывал на столе сыр, масло, пряники, нервно, торопясь, словно у него что-то ключом кипело внутри, но он сдерживался. Наконец, окончив все, сел и дал себе волю:

— Ну, брат, и разделаем же мы с тобой штуку! Есть у тебя бумага?.. Есть. Ну, пиши. Я тебе говорить буду, а ты пиши. Другого такого не сыщешь, как я. Я тебе все на правду выведу. Готова бумага? Ну, вот! Пиши: мошенники все служащие Российского государства, пьянствуют, ничего не делают и ни на что не способны. Пиши: так что в нем нет силы, физической силы. Слово-то, слово-то я тебе какое сказал! А ты думал — неучи?

— Нет, я этого не думал — ответил я. — Но зачем же так особенно нужна чиновникам физическая сила?

— А вот узнаешь. Пиши: фи-зи-чес-кой силы. Потому что море и земля должны тому принадлежать, у кого есть физическая сила. Нужно, чтоб у него котел работал и голова служила не для шапки, не мух ловить. Понял теперь? Хорошо?

— Очень!

— Но! —воскликнул он с достоинством, по-архангельски. — Ну, пиши дальше: пользы от них никакой нет, потому что, первая: чтобы поднять, нужно иметь силу, и, вторая, чтобы бросить, тоже нужно силу. А так что ему не поднять и не бросить. Написано? Прочти!

Я прочел и похвалил.

— Но! — принял он важно мою похвалу. И задумался, как настоящий, но только гигантский литератор. — Пиши дальше! Край наш богатый, непочатый, самый лучший край — Северный, потому что в нем богатства не тронуты. Пиши, что у нас всякая

рыба есть, рыбы много, в изобилии плодов рыбы: треска, зубатка, палтусина, и так что пудов на пять палтуски попадают; есть кумжа, форель, семга, навага, есть всякая рыба и зверь.

Помор остановился в изнеможении, пот струился по его красному лицу. Как и многие начинающие литераторы, он не мог сразу выразить свою мысль, потому что сильно преувеличивал ее значение. Он думал, что после нашей корреспонденции все обратят внимание на Северный край. Любовно поглядывая на исписанные листки, он вдруг воскликнул:

— А, может быть, ты и сам редактор?

— Что же тут особенного? — отвечаю я. — Я могу быть редактором.

— Ого-го-го! — воскликнул Зверобой. — Ну, разделаем же мы, брат, с тобой штуку. Пиши: у нас тут зверь... Подожди!

Он подошел к люку и закричал:

— Ванька, принеси сюда моржовые головки!

Немного спустя мальчик сложил на полу целую пирамиду из моржовых голов...

— Заверни одну господину редактору! Это я тебе за то, что хорошо пишешь. Теперь пиши. «Зверь трех пород: моржи, потом есть тюлени, нерпа, заяц, лысун, есть белуха, касатка, киты». После зверей пиши: «Каменный уголь, нефть, серебро. И так полагать, что золото есть». Вот такими кусками видели!

Зверобой отмерил ладонью половину моржовой головы.

— Дальше пиши, что я о всем этом докладывал покойнику губернатору Энгельгардту, а он только смеется и брюхо чешет, потому что не моряк и ничего не понимает, а только пишет, что понимает. Потом докладывал питерскому чиновнику, что Северный край — богатый, а он руки греет и говорит, что озяб, а этого не может быть, потому что и Питер — север, и там холодно.

— Пиши, пиши, — повторяет помор, но писать нельзя, в каюте темно, солнце, вероятно, зашло за горы.

— Темно...

— Ну, довольно. Завтра приходи на песок наживку ловить, покажу тебе северный народ. Иди, спи!

ВИЧУРНЫЙ

Я выхожу. Светло, хотя уже около одиннадцати. Никто не спит. Катают бочки, чинят сети, стучат, хохочут, ругаются.

— Где тут колонист Вичурный? — спрашиваю я.

— А вот на горушке.

Там у крыльца сидит почтенный бородатый мужчина, один, но постоянно жестикулирует, будто гребет веслами.

— Чего он машет?

— Он всегда так гребет. Выпил и гребет, будто на море. За то и прозвали: Вичурный — значит чудной человек.

Подходим. Он не обращает внимания.

— На фатеру к тебе, Вичурный!

Продолжает грести и кричит мне:

— Мошкара!

В это время солидная женщина в сарафане и поморской голубой повязке выручает меня, устраивает в отдельной комнате с видом на море.

Но мне теперь не до природы, лишь бы отдохнуть. Устраиваюсь, чувствую, как сладко засыпают ключицы и лопатки, выдержавшие тяжесть моего чемодана; вижу, как меркнет на стене огонек полуночного солнца... И вдруг с треском отворяется дверь.

Вичурный!

Улыбается, садится ко мне на постель. Что тут делать? Я — гость. Мне говорили, что тут иногда даже от денег отказываются. Нельзя же вытолкнуть хозяина. Убеждаю, говорю, что устал, и все...

Улыбается и гребет веслами.

Я начинаю роптать на судьбу и злиться на колонистов, припоминаю, что слышал о них, как о самых негодных людях, переселившихся сюда из Поморья только потому, что им обещали грошовую помощь.

— Весь колонист такой! — отзывается и Вичурный. — Потому камень, и все...

Что тут делать? Осторожно беру хозяина за плечи, вывожу на воздух, усаживаю на камень, а сам возвращаюсь и ложусь. Сплю, но слышу крик чаек, хохот и все будто вижу огонек на стене. Потом голос возле:

— Барин, ты напрасно, я человек хороший.

Открываю глаза: Вичурный сидит на кровати и будит. Притворяюсь, что сплю.

— Барин, я хороший, обут, одет, сыт, живу я с женщиной, все в порядке. Барин, перевернись! Эх! Наживать-то легко, а пропивать трудно. Перевернись!

Я даю себе слово, если он только прикоснется ко мне рукой, немедленно выставить его вон.

— Барин, перевернись. Не по компасу же ты спишь!

И перевертывает меня лицом к себе... Я вскакиваю, не помня себя, вывожу Вичурного и вдруг замечаю на двери крепчайший железный крюк. Закрываю дверь и наслаждаюсь, что Вичурный не может проникнуть. А он кричит:

— Мошкара! Меня в Амбурге знают, меня и в Норвеге знают. А вы все — мошкара, мошка-р-ра!

Надо быть искренним. Путешествие по моему плану не очень приятная забава, это не жизнь, но и не одно только удовольствие. Больше всего оно похоже на дело, совершенно самостоятельно задуманное, много сулящее, но часто и удручающее: временами исчезает всякий его смысл... Много бывает неприятностей, если все подсчитать. Но самое неприятное — это то, что если я открою глаза, то непременно встречу на стене огонек полуночного солнца.

Открываю: огонька нет, полутьма. Повертываюсь к окну: солнца нет. Неужели же село? Неужели конец этим солнечным ночам?.. Солнце село, океан хотя и горит, но в воздухе полумрак. Белые птицы рядами уселись на черных скалах, молчат, дремлют...

Теперь я понимаю: путешествие — не жизнь, не дело, это — любовь. Вот я уже забыл про все, и мне хочется поселиться вместе с этими белыми птицами на черных скалах у океана.

ЛОВ НАЖИВКИ

Просыпаюсь и с кровати вижу, как несколько мачт далеко. до самого горизонта протянулись по спокойному океану. Безветрие и солнечный день на океане — праздник. Рыбаки сегодня одеты в желтую непромокаемую одежду, суеты нет, все группами мало-по-малу расходятся в горы.

— На песок, на песок! — кричат зуйки.

— На песок! — кричит Вичурный за дверью.

Он входит ко мне совершенно трезвый, как ни в чем не бывало подает мне руку, предлагает итти на песок ловить наживку. Но предварительно он желает выпить со мной мурманского ерша и тут же изготовляет смесь из водки и квасу Я предпочитаю стакан чаю с морошкой, как предлагает хозяйка, и мы отправляемся на песок.

Путь наш лежит через кряж по камням, совершенно такой же, как и вчера: со ступеньки на ступеньку; как и вчера, в трещинах скал попадаются лиловые колокольчики. Рыбаки посвящают меня в свое дело. Наживка — это маленькая рыба (песчанка и мойва). Она здесь ценится чуть ли не дороже самой трески, потому что без нее невозможна рыбная ловля. Рыбешку насаживают на крючки длинных переметов, называемых здесь *ярусами*; *наживка* значит: приманка.

Мы подходим к вершине кряжа, и вдруг черная стена камня разрывается, будто кто-то нарочно прорубил в нем гигантским долотом правильное квадратное отверстие к океану. Внизу, у берега, отмель ровная, желтая, как усыпанная песком площадка крокета. Тут тысяча или больше людей, распределенных правильными рядами. Не похоже ни на жатву, ни на сенокос; какая-то грандиозная игра на естественной площадке у океана...

— Видишь, сколько народу, — говорят мне, — шапке упасть некуда!

Все это так любопытно отсюда, что я отстаю от поморов, ложусь на разогретый песок и любуюсь. Не знаю, что интересней: люди внизу или этот серебряный дождь птиц наверху...

Меня замечают. Слух о приезде «редактора», конечно, разнесся по всему становищу, и вот один за другим подходят ко мне мудрецы побеседовать, кланяются и со словами: «На мягком полежать, брюхо попарить», ложатся возле меня. Это все почтенные люди, которые имеют право и не принимать участия в работе: вчерашний Зверобой, еще старик Игнатий, гигант, — еще один старик, своим мудрым видом вызвавший во мне образ Фауста до искушения.

Подальше от нас собирается другая группа созерцателей: маленький телеграфный чиновник в крахмальном воротничке и с тросточкой, несколько местных скупщиков рыбы, — группа обособленная и, наверно, консервативная. Мы — налево, они — направо, будто заседание маленькой Государственной думы, перенесенное сюда, к океану.

Птицы вверху иногда сталкиваются, пищат, дерутся. Но люди правильными рядами тянут невода, тысячи веревок переплетаются но всегда распутываются, без всякого начальника или распорядителя, так, сами собой.

Тут, вероятно, вложены столетия опыта приспособления...

— Все идет кругом, — открывает заседание мудрец, похожий на Фауста, — все идет кругом. Все голова работает. Все обдумано. А все на своем месте.

— Вот, господин редактор, смотри, — приглашает меня Зверобой, — смотри и любуйся. Видишь, народу больше тысячи, бойко работают, а никто не зацепит, не мешает. Не то, что у вас, в России, затменный да закрепощенный.

— Почему же вы отделяете себя от России? — говорю я. — Вы тоже русские.

— Мы не от России дышим... Впереди вода, сзади мох, мы сами по себе. Смотри, какой народ: молодец к молодцу. А ваш — что мякинник, а зерно в нем не представлено. Он бы и вышел куда, тыкнулся, да свету не дают.

— Национальность! — вдруг торжественно произнес Зверобой. — Слово-то, слово-то я тебе какое говорю, а ведь нигде

не учился. Знаю вот, что мы от Марфы Посадницы свободу имеем. Дружинник! Откуда такое слово? От новгородской дружины. Вот мы как свою страну и без науки знаем, до тонкости знаем. Нам и наука не нужна.

Эти слова были началом моего разочарования в Зверобое. Вчера же он воспользовался моим трудом для корреспонденции и вот уже сегодня почувствовал свою национальную гордость, отрицающую науку.

— Учиться же нужно, народ учить нужно... — начал было я.

Но в это время из правой группы поднялся маленький телеграфный чиновник, оперся на тросточку и, задумчивый, замер в созерцании океана. Его крахмальный воротничок привлек внимание всей левой.

— Вот видишь, — говорят мне, — видишь... Скажи, что в нем? Чернильная душа, а как нос задирает! Куды! Кто я, что я! Да ведь вся-то твоя душа в чернилах. Отставь тебя от службы — и пропал, а оставь меня в рубашке — найду дорогу. Потому что он людям служит, а я — себе, обеспечиваю себя своей силой и умом. У меня свой наказ. Я весь в натуре.

— Близкозор! — сказал Зверобой.

— Муха в парусе, — заключил Фауст.

Я тоже не поклонник чернильных душ, но боюсь, что вместе с этим Зверобой отрицает и просвещение. Я опять повторяю, что народ учить нужно, что без этого нельзя...

— Ну, брат, нет... Я тебе вот что скажу. У человека, как у птицы перелетной, вырабатывается свой ум. Оставь его так, все образуется.

— Народ — такое дело, — соглашается Игнатий, — что вода в реке: запирай, она будет напирать.

— Капелька по капельке плотину прорвет, — подхватывает Зверобой. — Потому что народ — стихия. Слово-то, слово-то я тебе какое сказал!

— Стихию запрут, — говорю я.

— Ну, брат, нет, стихии должен покориться!

— Так век идет, — поддержал Фауст и рассказал, что у него было свое судно, и он на нем возил по тысяче пудов семги, и что его разбило и семгу унесло.

— И остался сиротой на веки земные, — продолжал за него словоохотливый Зверобой. — Вон она! — показал он рукой на океан. — Лежит хорошо. А как морянка задует, да взводни через глядень стегать начнут... Нет, господин, стихии должен покориться.

Я еще раза два пытался направить разговор, как мне хотелось, но так и не удалось.

— Все осталось, все прокатилось, все потерялось, — заключил нашу беседу Фауст, и мы все поднялись посмотреть, много ли поймалось наживки.

Поймали множество извивистых змеек с фиолетовым отливом. Лов рыбы обеспечен. Завтра все эти люди двинутся в океан на первобытных беспалубных лодках.

Пока они будут «лежать на ярусах», может, как выражаются они, «набежать полоска», из нее дунет, и лодки, как это здесь очень часто бывает, пойдут ко дну.

— Нажить, либо дома не быть! — говорит Фауст.

— Стихии должен покориться, — долго еще повторяет Зверобой.

Возвратившись на становище, мы весь остальной день насаживаем наживку на крючки. Дело, требующее большой ловкости. Насаживают большие специалисты мальчуганы, наживодчики и зуйки. Я учусь, но у меня выходит медленно. Назавтра мы сговариваемся вместе с Игнатием ехать в океан.

СТАРЫЙ КОРМЩИК

В спокойное, «меженное» время в тихие дни Ледовитый океан иногда так успокоится, что все вокруг становится хрустальным: и вода, и воздух, и берег, и птицы. Кажется, будто все это залито на веки вечные прозрачною и легкою стеклянною массой. «Море стеклеет», — говорят тогда поморы. Бывает это чаще вечером, солнечной ночью. Утром подует горний ветерок... Океан оживает, зарябят полоски. Тогда кажется, будто улыбка ребенка победила давно застывшее сердце старого мудреца, и он рассмеялся.

Если в это время тихонько плыть на лодке вдоль берега, то можно видеть, как из глубины все еще стеклянных вод одна за другою высовываются кроткие, умные головы зверей, похожих на человека, как они, большие и грузные, пробуют устроиться на каком-нибудь едва заметном подводном камне. Усядутся рядом два зверя, согреются утренним солнцем и склонят друг к другу головы. «Будто целуются», — скажешь помору. «Ликуются, — ответит он, — потому что природа у них человечья». И так это покажется значительным, что в Ледовитом океане живут звери, похожие на людей, и что в хорошее солнечное утро они целуются. Сверкнет серебряная спина белухи, выдвинется черное туловище — касатка, вдали поднимутся фонтаны китов; на скалах расстроятся ряды белых птиц, запрыгают сельди, сверху на них серебряными полосами посыплются чайки.

Старый мудрец улыбается.

В хорошее летнее утро на краю света, у скалистого берега, где растут только лиловые колокольчики, начинается такая большая, мудрая жизнь. Так ясно думается, так хочется верить, что конца природы и жизни человека нет, что все оканчивается не смертью, а спокойной мудростью. Ледяная оконечность земной оси — полюс — венец мудрости.

Небо светится, вода рябит, скалистый берег оседает, впереди то зверь, то птица... Старый мудрец улыбается.

— Ветерок горний, ветерка благо, бежим хорошо! — радуется кормщик.

Мы едем на шняке ставить ярус в океане.

Всего нас пятеро. Старый кормщик Игнатий, тот самый «законник», с которым мы уже не раз беседовали, и с ним три помора: «тяглец», ближайший помощник кормщика, зрелый муж, «весельщик», юноша, и «наживодчик», почти мальчик. Команда на шняке — совсем будто семья. Быть может, такая артель и создалась на основе семейного начала? Но, может быть, и само дело требует разных возрастов... И то и другое вероятно. Команда подчинена кормщику, как патриархальная семья — главе семейства. Больше. Мурманская поговорка гласит: «Н а н е б е — б о г, н а з е м л е — ц а р ь, а н а в о д е — к о р м щ и к». Но Игнатий никогда не распоряжается единолично, а всегда по согласию: опросит, «как братья», и потом решит. Он и вообще не любит решать своевольно. В свободное время к избе Игнатия собирается вся молодежь становища, обсуждает свои дела; старик всегда с ними, но больше молчит и незаметно руководит. Было время, когда весь Мурман управлялся таким мудрым, прославленным жизнью человеком. Но теперь...

— Теперь на воде слушаются, а на берегу — нет, — говорит кормщик Игнатий и улыбается, будто сочувствует тому, что власть уходит от старых людей.

Я пытаю старика: хорошо это или плохо?

— Ни хорошо, ни плохо, — отвечает он. — Народ теперь больше сплочен. Старики на своем ставили, а молодой идет по артели. Мы по-молоду тянем.

Берег «оплывает». Отъехали верст двадцать в океан. Дальше ехать нельзя, можно и вовсе потерять землю из виду, а необходимо установить приметы, иначе лодку незаметно может унести течением, и потеряем место, где поставлен ярус.

Ярус — это длинная бечева, версты в три, к ней привешены на коротеньких ф о р ш н я х крючки с наживкой. Якорями он опускается на дно по «короткой воде», а к у б а с (деревянные поплавки) маленькими флагами показывают, где он.

Мы приехали на место **полежки**, готовимся выметывать ярус. Но раньше всего нужно установить приметы. Старик теперь же замечает по компасу едва видный глядень, а когда отъедем версты за три, возьмем другую примету.

Приметы взяты. Поморы кланяются на все четыре стороны, но всего усерднее — на восток.

Рыбаки бросают в море кубас «**бережник**».

Поплавок кланяется до самого моря то нам, то берегу, то просто вдаль, на все четыре стороны, как кланялись только что поморы.

— Смотри, ребята, замечай, стоит ли кубас?

— Трубит, трубит! — отвечают другие.

Мы едем вперед; один за другим тонут за нами крючки с наживкой в глубине зеленым светом.

Ставим еще кубас «**середник**». Под конец бросаем последний «**голоменной якорь**».

Ярус поставлен; теперь мы будем «лежать на ярусе» шесть часов — время от начала прилива до конца отлива. «Вылежим воду» и станем тянуться.

— Ребята, грей чайник! — командует кормщик, а сам озабоченно смотрит то на него, то на берег, то на воду.

Я что-то спрашиваю его, но старик не слышит или умышленно молчит.

— Ветры беспокоят,— отвечает мне за него юноша весельщик.

— Ну, вот, господин, смотри, — говорит немного спустя Игнатий, — примечай: если против этой горы с крестом облако наводить будет, то туман поставит в море стену. Но ничего... Облако чернее, свинки выкидывают, — это к горним ветрам. Ничего...

Кормщик успокаивается. Как ни в чем не бывало, мы начинаем пить чай. Как раз и у нас теперь пьют утренний чай. Если бы кто-нибудь, незнакомый с тем, сколько гибнет поморов каждое лето, посмотрел теперь на нас, то ему и в голову бы не пришло, что это так опасно. Сидим, покачиваемся, пьем чай и благодушно беседуем. Другое дело, если увидеть такую лодку в тумане, когда после чая поморы лягут спать. Подъезжая к Мурману утром, я это видел. Мне показали пальцем одинокую лодку в тумане и сказали: «Вот лежат!» И так это было жутко. Мы

проехали, и от волн парохода лодка закачалась. Никто не шевельнулся, все спали, «вылеживали воду». Я долго смотрел на эту мертвую точку в тумане. Как это можно так... спать... Жутко.. Но теперь мы пьем чай совершенно так же, как дома, и мирно беседуем. Игнатий огляделся кругом, снял шапку.

— Только бы воду вылежать. Наше дело такое. Долго ли погибнуть, на воде ноги жидки. Налетит полоска, стегнет волна, и некуда деться, пропал. Но только страшного тут, господин, ничего нет. На товарища глядеть страшно, а самому хоть бы что. Помнишь, Гаврило, как табак-то спас?!

— Не скоро забудешь! — отозвался тяглец.

— Было дело. Да и так сказать: в мокром выросли, что нам мокроты бояться... Лежали на ярусе вот с этим Гаврилой; он мальчишкой был, наживку насаживал. Небо ясно, ветра не было, вылеживали воду мы хорошо, рыбы много. Вдруг, откуда ни возьмись, набежала полоска, стегнуло волной, шняка вверх дном. Мачта плывет, весла плывут, ребята в воде, что рыба. Не опадая духом, командую: «Держите весла, держите мачту, лезьте на крень!» Они и повылезали из воды на киль, все единственно, что звери морские на камень. Сидим, качаемся. Скушно. Гаврила и говорит: «Покурить бы». Хватились: у кого табак за пазухой не отсырел, у кого — спички. Сидим, дымок вьется, хоть бы что! Тут опять, откуда ни возьмись, ветер, дунуло и опять шняку на место поставило. Мачту изладили, парус поставили и побежали.

— Табак спас! — засмеялись все.

— Табак! — засмеялся и кормщик. — Ну, довольно. Ложись, ребята, спать.

Стали укладываться. В носовой и кормовой частях шняки есть кузовки, «заборницы». Туда можно спрятать значительную часть тела и укрыться от непогоды.

Я устроился на носу с тяглецом, остальные — на корме. Не спится. Может быть, мне мешает спать мысль о том случайном ветре, про который рассказывал кормщик. Вместе с людьми я совершенно не испытываю чувства страха, но мысль о ветре мешает заснуть, как иногда дома слишком близко поставленная к постели лампа: зацепишь как-нибудь во сне и свалишь. Тяглец тоже не спит, заговаривает со мной:

— Нет человека крепше и нет человека слабже.

И рассказывает про кормщика, как он потерял двух сыновей:

— Лежали на ярусе старик, двое сыновей и я. Стегнуло волной, опрокинуло лодку, выбрались на киль. Семь часов держались, стало уж к берегу подбивать, саженей сто осталось. Вдруг младший крикнул: «Тата, тошно!» И как ключ — ко дну. Потонул. А другой через год поехал в Норвегию, около Вардэ ему перебежка восемьдесят верст была. Закидало взводнями, утонул. Старику не круто сказывали. По-малешеньку. Все думал — вернется, все вернется. Долго на глядень ходил, ждал. Потом волосы рвал на себе. А после таким законником сделался, первый человек во всем Мурмане, и все за молодых стоит, а не за старых. Говорит, что молодой человек лучше, артельнее, а старики только себя знают.

Мы еще что-то говорили; не помню, как я заснул.

Разбудил голос кормщика:

— Ребята, грей чайник, тянуться пора!

Но это предложение чая — просто любезность старика: все понимают, что теперь не до того, пора тянуться.

Выбираем бечеву, с и м к у, до голоменного якоря. Пузыри...

— Ну, ребята, море кипит, рыбу сулит! — радуется кормщик.

— Подходи, трещочка-матушка, палтусочек-батюшка!

Глубоко в океане загораются зеленые огни. Движутся к нам, превращаются в зеленых сказочных птиц, потом в белых чаек и под самый конец — в больших серебряных рыб.

Тяглец тянет, весельщик подвигает лодку по линии яруса, наживодчик выбирает снасть.

Треска, палтус, зубатка, треска, треска, треска, больше трески.

— Треска идет, треску ведет! — приговаривает кормщик.

— Дай, господи, нос да корму, середку полну! — отвечают другие.

— Треска идет, треску ведет! — повторяет старик.

— Пошли, господи, окупи наши пропои! — отвечают молодые.

— На небе — бог, на земле — царь, а на воде — кормщик,— повторяет мудрец Игнатий в своем стану за чаем, довольный хорошим промыслом. — Слушаются меня, почитают на воде, —

и удача. Вот на берегу... А меня и на берегу не обижают. Мы по-молоду держим, им, молодым-то, что спертый пар в котле.

Игнатий не хвастается: я сам вижу, как молодежь, собравшаяся в стан, почтительно относится к старику-законнику.

— Вот, почитай мне законы! — просит он, подавая мне книгу. — Сам неграмотный, так прошу почитать, кто знает.

Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях. Сухие параграфы, не имеющие в сыром виде для простого смертного никакого значения. Что я могу растолковать старику, когда о каждом параграфе существует целая библиотека? Что найдет тут для себя этот неграмотный помор, этот водяной царь?

Апокалипсис куда, куда легче, проще истолковать, чем Свод законов. Как попал этот ужасный том в колонию поморов, где нет начальника, где два дня тому назад я мечтал найти осуществление человеческой свободы?

— Откуда, зачем ты достал себе эту книгу, старик?

— А вот послушай! Ты знаешь, я прямой, я их на правду вывожу. Стал меня за это народ в Поморьи почитать. Приходят выборы, а они и выбери меня старшиной. А я неграмотный. Что делать? Писаришке не доверяю, все сам веду, считаю по памяти. Ну, мудрено ли просчитаться, вышла под конец нехватка. Меня судить. Меня-то, меня-то судить! И так присудили, чтобы отсидеть время. Зовут раз. Не иду. Зовут два. Не иду.

Старик нахмурился. Мне стало неловко, стыдно, противно. Тот самый народ, который за что-то высокое почитает старика, тут хочет посадить его за несколько просчитанных рублей.

Неужели же и здесь, на Севере, то же, что и везде?..

Старик нахмурился.

— В третий раз приходит урядник: «Иди, Игнатий, за мной!»

Кормщик поднялся во весь свой гигантский рост, большая волнистая борода, спрятанная раньше, как делают поморы от ветра, под куртку, выскочила, рассыпалась по могучей груди.

«На небе — бог, на земле — царь, на воде — кормщик», — промелькнуло у меня в голове. А Игнатий поднял вновь кверху кулак, будто трезубец Нептуна, и со всего маху опустил его на стол.

— Не пойду! — взревел водяной царь.

И сел. Потом я заметил, как на грозном лице, пока стихала раззвеневшаяся посуда, одна за другой разглаживались морщины старика, видел, как вместо них в углах глаз появились совсем другие, смешливые. Все светлее и светлее становилось в избушке.

— И не пошел! — засмеялся старик, как ребенок.

— Ха-ха-ха! — покатились молодые поморы.

— И не пошел?

— Нет, — захохотал старик.

Все долго смеялись и, отдохнув немного, спрашивали: «И не пошел?» И снова хохотали поморы, кормщик и я. Только Свод законов Российской империи в своем коричневом казенном переплете, прищурившись, смотрел на нас и тихонько, ядовито шептал: «Я вам дам, я вам дам!»

СЛЕТУХА

День был мутный, непрочный, над океаном раскинулся полупрозрачный кисейный шатер с окошком вверху.

«Плешь горит! — сказали поморы, указывая на солнце. — Завтра морянка будет. Перед погодой горит, пылкая морянка хватит». И не поехали.

Морянка — мурманский праздник, — рассуждает Вичурный и уже с вечера напивается и всю ночь стучится ко мне и кричит: «Мошкара, мошкара!»

За ночь море раскачалось, утром бунтует. У глядня поднимаются белые столбы, и брызги взлетают до самого креста. Из шума волн вырываются крики разгулявшихся поморов. Жутко становится мне. И в простой-то деревне, как разгуляется народ, не очень хорошо, а тут совсем другое. Тут нет женщин, маленьких детей, полей, деревьев, ничего ласкового, нежного. Трезвому человеку тут и спрятаться некуда: в горах ни одного кустика, злой ветер...

Я хочу пробраться на глядень, посмотреть на бунтующий океан, но, не дойдя до креста, отступаю: разбитые за скалами волны дождем перелетают через глядень. Повертываюсь назад, но тут меня встречают несколько пущенных кем-то камней. Это зуйки разгулялись, тоже, как и большие, подвыпили и теперь сражаются камнями на глядне, стена на стену. Спешу присесть за большой камень.

Зуйки — это будущие поморы, тут они проходят свою суровую естественную школу. Вырастают, как птицы, как звери.

Бой разгорается, много раненых. Разве броситься к ним сразу, крикнуть и остановить? Не решаюсь, потому что не знаю этих детей, выросших на Мурмане, побаиваюсь. Вдруг ветром через глядень бросает к ним красивую птицу, поморника. Укрываясь от

непогоды, она стремглав несется вниз и садится в расселине между камнями. Зуйки замечают птицу, вражда окончена; все, как хищные звери, с камнями в руках ползут, крадутся... Напрасно: улетает. Что теперь делать? Секунду смотрят по сторонам, а в другую — летят к самому низу, к станам. Там из одной избушки, похожей на самовар, выскочили два старика и схватились. Один — хромой, с костылем, другой — почти голый. У избушки напротив тоже дерутся...

Осторожно пробираюсь домой с твердой решимостью затвориться на крюк и сидеть день, два, три, пока не стихнет морянка. И только успел надеть крюк, слышу под окном: «Слетуха, слетуха!» Пробежала хозяйка, кричит не своим голосом: «Слетуха!» Пронеслась стайка зуйков: «Слетуха!» Постучал под окно Зверобой: «Барин, выходи посмотреть, слетуха!»

Выхожу. Внизу по океану бегут белые колеса, разбиваются с гулом о скалы. Несутся камни и брызги, и крики, и ругань. Дерется все становище, бунтует весь океан.

Катятся белые колеса по океану, и будто в каждом из них сидит рожа помора. Добежали к глядню и бац! — все рассыпалось, ничего не понять: сети, избушки и бочки, белые колеса и звериные рожи. Все белое, черное кружится, хлещет, и хлещет, и хлещет...

— Морянка, вот и слетуха. Мурманский праздник. Как морянка, так и слетуха, — говорит мне Зверобой...

— Подождите малешенько; остервенеют, — мы их опутаем сетями, водой польем, и стихнут.

— Бойкая слетуха!

— Пылкая морянка!

Зверобою весело, хохочет.

— Кровь-то физическая! Семена-то закладены! Задел старик хромого, а хромой-то бойкий, клюкой свистнул, он — в воду, синяков наделал, фонарей наставил.

— А урядник... Что же урядник делает?

— Стоит, смотрит, как и мы. Что же ему делать? Вишь, народ какой! Поморы! Кровь-то физическая, семена-то закладены... Такие наши гусаря. Ну, и яровит хромой, вертится на пять переворотов.

Недалеко от нас замешательство. Кто-то упал.

Я подхожу. Лежит человек лицом к земле.

— Что это?

— Вишь, расстелился.

— Как?.. Что?..

— Кончился, кровь горлом пошла.

Улеглась морянка, стихла слетуха. Как малые ребята, утром пошли друг к другу, кто за шапкой, кто за поясом, кто за чаем. Вичурный, весь избитый, дрожащей рукой составляет мурманского ерша. Входят три огромных помора, выпивают, хмелеют, зовут Вичурного ехать на лодке вокруг глядня на песок.

— Проваливайте к чорту, мошкара!

Гиганты садятся в лодку, выезжают из бухты. Ветер стих, но взводни еще не улеглись. Лодку догоняют белые гребешки.

— Пропадут! — говорит мне спокойно хозяин.

Мне кажется, он хочет сказать другое.

— Не пропадут? — поправляю я.

— Пропадут. Сейчас пропадут, потому что взводень рассыпаегся. Трезвый всегда убежит от взводня, а пьяный — нет. Пропадут.

Белый взводень рассыпается над лодкой.

— Конец?

— Нет, из этого выйдут, вон тем закроет!

— Вот!

. . . .

— Шабаш!

— Лодки! Спасать! — кричу я. — Люди потонули!

— Кого же спасать? — спокойно говорят мне. — Видишь, ничего нету, ни лодки, ни людей. Окиян — не лужа.

Я бегу к кучке людей у берега. Верно, там хотят помочь. Но слышу спокойный разговор.

— Край ветра шли.

— Вода тихая, взводень слабый. Пьян без ума, честь такова!

— Наказал бог!

— Бог... ах, ты! Может, им такая смерть уписана.

— Сам от себе...

— Своя ошибка, не хлябай.

Постояли и разошлись. Становище смолкает, все уходят на песок. Последние белые колеса изредка подбегают к скале. Еще немного, и океан уляжется, заснет, застеклянеет. Но ведь это были сейчас там люди, не белые колеса. Ну, хоть бы в колокола позвонили, панихиду отслужили.

И плакать тут некому: женщин нет, нет маленьких плачущих детей. И так тяжела кажется эта ужасная мужская жизнь без плача.

Урядник плетется в почтовую контору.

— Сейчас три помора утонули!

— Знаю, знаю, бегу телеграмму дать в Поморье.

Вот и поплачут. Этой телеграммы там со дня на день тревожно дожидаются женки. Я проезжал по этим большим, молчаливым в летнее время селам. Меня поразила тогда их скрытая жизнь. Чисто убранные дома с цветами на окнах будто с часу на час ждут чего-то страшного. Помню маленьких детей с корабликом у воды. Спрашиваю: «Где твой папа?» — «Тата утонул». — «А мама что делает?» — «Ништо. Плачет по тате». Я иду к женщине, спрашиваю о жизни. И вот убивается, вот вопит:

— Тошно, жалко! Судьба-то шепчет: поди-поди.

— Тошнее, жальче, кто потонет. Лекше, много лекше, как на лавке помрет.

Едва-едва успокоилась женщина, вытерла слезы и стала себя утешать:

— Морские покойники перед господом праведнее.

— Почему же морские?..

— А лежат они там напрасно, и косточки их бьет и моет...

И опять залилась женщина, и так я не узнал тогда, почему морские покойники праведней. Теперь я понимаю: нет похоронного сочувствия людского, но зато больше одиноких женских слез.

Идет Игнатий на песок.

— Слышал?

— Что?

— Поморы утонули.

— Так что же? У нас это часто. У нас по покойникам не плачут.

К ВАРЯГАМ

Наконец-то я своими глазами видел, что солнце село. Я вышел на глядень, ожидая парохода, который повезет меня в Норвегию, и как раз, когда я достиг вершины горы, креста, солнце спустилось в океан. На другом глядне в уступах скал стал сгущаться полумрак и в нем один за другим — исчезать лиловые колокольчики. Большая белая птица бесшумно села на черный уступ, другая, третья, одна к одной, одна к одной, и вот уже длинный белый ряд спокойно смотрит на горящий пламенем океан.

На один глядень слетаются белые птицы, на другой — сходятся черные люди. С камешка на камешек, все наверх, ближе к кресту, откуда виднее, шире простор океана.

Погружаясь в полумрак и дрему вместе с птицами и лиловыми колокольчиками, можно обо всем мечтать тут у океана: о вечевом колоколе, о новгородской вольнице...

Я не очень рад, что ко мне подошел Зверобой и молча уселся возле. Знаю, что он хочет завести какой-то умнейший разговор. Тоже и другие мои приятели: Игнатий и Фауст. Я уже пережил Мурман, мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям... И так это тягостно сознавать, что непременно нужно вести умную беседу.

— Ну... — говорю я, наконец, Фаусту, — о чем ты думаешь?

— О всем помаленечку, — рад он начать, — о том, о сем. Все вот вертится да кружится...

— А все на своем месте, — доканчиваю я за него его любимую мысль.

— Все стоит! — подхватывает он и, подумав немного, говорит: — Вот вы ученые...

— Ну...

— А не можете, чтобы молодым сделать?

— Нет!

— Вот...

Мы немного молчим. Я чувствую, как у Фауста кружатся в голове отрывки воспоминаний, недоконченные мысли, как они плывут, крутятся, перевертываются наизнанку и, сделав оборот, опять начинают все по-старому, опять все стоит на своем месте. Фауст — сильно помятый жизнью человек. Зверобой — полная ему противоположность: ему лет шестьдесят, а на вид сорок.

— Вот бы, — говорю я, — мне таким быть в твои годы.

Он изумляется.

— Ты лучше будешь. Вы не работаете.

— Как не работаю!

— Так... От работы люди стареют, а вам что? Вы не работаете.

— Как не работаю! Весь день работаю. Всегда работаю!

Зверобой улыбается. А я горячусь, хочу почему-то во что бы то ни стало доказать ему, что и я работаю.

— Я головой работаю.

— Голо-во-ой! — протягивает он. — Так какая же это работа? Это хитрость.

Тысячи раз я наталкивался на эту стену непонимания народом интеллигентного труда. Но никогда мне не хотелось вступаться за него так, как теперь.

— Голово-ой... — продолжает помор. — Мало ли что я головой могу выдумать! Стяжной ты человек, хитрый и могущественный, вот и все. Ты поработал бы у нас на шняке.

В другое время, при других условиях я, может быть, и смутился бы от этого аргумента. Но здесь... Я только что мечтал о том, как я попрошу у капитана газетку и утолю свой волчий аппетит. Работа на шняке меня не очень соблазняет потому, что я не очень доволен всей этой компанией поморов. Всех их томит теперь в ожидании парохода тоска по водке. Как только он придет, появится вино, начнется пьянка, слетуха. Я теперь хорошо понимаю этот мурманский заколдованный круг. Пока ловится наживка, и дует легкий горний ветер, идет рискованная, почти героическая работа. Как только перестала ловиться наживка, или подует морянка, так начинается тоскливое ожидание парохода с

вином, пропивание всего заработанного и слетуха. В результате «все стоит на своем месте». Русские поморы промышляют рыбу на таких судах, которых уже не помнят в Норвегии, где суда совершенствуются постоянно, где поморы защищены от случайностей. Я слышал уже не раз, что норвежцы с хохотом встречают русского помора на том судне, которое они давно забыли, и которое в Норвегии можно встретить только в музее... Нет, я не хочу работать на русской шняке, не признаю ее и возмущаюсь.

— Хитрость! — говорю я Зверобою. — Но если я о ваших порядках, о том, что вас тут оставляют без всякой защиты, не помогают вам, напишу книжку, и вам помогут устроиться как в Норвегии... Разве это хитрость, а не труд?

— Напиши, напиши, — просит он, — дело хорошее.

А сам думает по-своему. Сам не может понять, как за одни голые мысли можно получать деньги. Ведь и он тут думает постоянно, всякое его действие сопровождается мыслью, но платят ему за треску, в которой соединились и его «хитрость» и физический труд.

Мы, вероятно, много бы интересного вынесли для себя, если бы могли развить дальше нашу тему.

Но источник нашего общения — искренность — прекратилась. Помор молчит и в глубине души считает меня ловким пройдохой, а я его — «типом». Наши личные пути разошлись, и я готов расстаться со всеми гениальными мыслями Толстого, Рескина и Руссо, лишь бы отстоять уделенный мне уголок умственного труда.

Тут вскоре зуек, усевшийся на самом высоком камне у креста, закричал:

— Дым!

— Пароход, дым! — загудели поморы.

Две белые птицы сорвались и закружились с криком над нами.

Еще два-три часа, и этот пароход повезет меня в Норвегию, в страну, где нет уже неграмотных поморов, где уже давно не говорят о том, что сейчас говорили, где моя «хитрость» встретит признание не только в людях, но и в бесчисленных, одушевленных ими вещах. Там живут те самые варяги, о которых сложился такой известный и горький нам анекдот: придите, княжите...

Дым парохода все ближе и ближе, показывается труба, корпус...

Свисток перебегает от горы к горе, будит птиц. Они взлетают белым облаком над черным Мурманом, похожим на окаменелого слона. Люди тоже расходятся, спешат к лодкам один за другим. Опять, как и в самом начале, я кладу свои вещи в первую попавшуюся мне шняку; по чемодану шагают, опираются на меня, перепрыгивая с лодки на лодку, и приговаривают:

— Сиди, сиди. Сел и сиди.

Вичурный напивается уже во время стоянки, и вот последние слова, которые я слышу, уезжая к варягам:

— Меня в Анбурге знают. Мошка-р-р-ра!

ВАРЯГИ

КИЛЬДИНСКИЙ КОРОЛЬ

24 июля

Кончена дикая жизнь... Ружье, удочка, охотничьи сапоги, котелок и чайник упакованы и отправлены домой. Я в одежде культурного человека и готов покаяться перед Европой в измене ей на целых три месяца. Все мои помыслы обращены теперь к Норвегии. Я почти ничего не знаю об этой стране положительного: общие скудные исторические сведения, долетевшие через газеты отдельные факты без сознательного к ним отношения... Но у русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но, быть может, и оттого, что европейскую культуру так необидно принять из рук стихийного борца за нее — норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога, и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка. То же, но иными словами, мне много говорили о ней русские поморы. На судах наши русские моряки встречаются и с англичанами и с немцами, но всегда отдают предпочтение норвежцам: самый лучший народ — норвежцы, — слышал я сотни раз.

Я начинаю свои наблюдения еще у мурманского берега, разглядываю эту толпу на пароходе, завожу знакомства. Тут есть норвежцы с благородными германскими лицами; есть несколько зырян; красивых, но плутоватых великанов в немецких костюмах; есть русские поморы и смесь из финских племен: лопарей, финнов, карелов, всех этих прозябающих на крайнем Севере некрасивых племен: многие из финляндцев и лопарей совсем маленькие, квадратные, с крючковатыми носами, на низких, кривых ногах. Во всей этой этнографической смеси даже красивый национальный тип обесцвечивается, для него нет фона.

Ни Россия, ни Норвегия... «Чушь!» (чудь) — определяет одним словом мой знакомый помор этот этнографический винегрет.

Пароход переходит из одного становища в другое, нагружается, трещит лебедкой и наконец подходит к интересному острову Кильдину.

Это недалеко от Кольской губы мурманского берега. Он возвышается над океаном как основание громадной, кем-то начатой пирамиды. Я еще в Лапландии слышал про этот замечательный остров. Лопари мне рассказывали, будто злая ведьма, рассердившись на жителей Колы, хотела запереть их в Кольской губе и вытащила остров из океана на веревке. Она подтянула его почти к самой губе, но кто-то увидел ее злую цель, крикнул, веревка оборвалась, колдунья окаменела, и остров остановился в океане.

На острове не видно деревьев, кустарников, даже травы. Только на южном склоне, там, где проходит наш пароход, виднеется прозелень. Тут на берегу я еще издали замечаю скот, коров, овец, прочные новые постройки, на воде красивые листерботы и моторные лодки.

— «Кильдинский король»! — говорит нам капитан и останавливает пароход, чтобы передать туда почту, принять груз.

Все путешественники с любопытством смотрят на эту одинокую колонию норвежца на громадном пустынном полярном острове. Всех поражает это благоустройство; все ожидают, когда появится на пароходе этот колонист норвежец, прозванный Кильдинским королем. Но из всех этих путешественников в настоящую минуту, вероятно, только я один понимаю и оцениваю вполне значение этой колонии на крайнем Севере.

Нужно вот так, как я, поскитаться то пешком, то на лодке месяца три по Северу, чтобы понять это. Я приучил уже себя к чувству сострадания к людям крайнего Севера. Я привык думать, что люди здесь, как эти несчастные деревья, мало-по-малу должны сойти на-нет, что красное полуночное солнце — лампада у гроба умершей природы.

Теперь я смотрю на колонию Кильдинского короля и думаю, что для человека этой естественной границы нет, что он может жить и за гранью, что он — человек, он выше природы.

Лет тридцать тому назад, — рассказывают нам, — сюда прибыл из Норвегии колонист с большой семьей, малолетними детьми и поселился на этом острове. У него не было никаких средств для жизни, так что вначале он стал промышлять рыбу на обыкновенной русской шняке, но переделав ее так, чтобы можно было бежать против ветра; для этого ему нужно было только изменить киль и устроить косые паруса. Благодаря этому в случае шторма, ветра с берега, он мог возвращаться домой. Жил сначала в каюте от старой елы, но скоро из прибитых морем к острову дерѐвьев (плавуна) устроил дом. И так из года в год стал жить лучше и лучше, промышляя то рыбу, то морских зверей. Дети — пять сыновей и шесть дочерей — выросли такими же здоровяками, как отец, и промысел, конечно, стал во много раз успешнее. К концу жизни старика образовалась на острове Кильдине целая колония с листерботами и моторными лодками.

Простая, несложная история. Но сколько в ней внутренней силы! Хорошо бы посмотреть поближе, вглядеться в быт, всмотреться во внутренний механизм, узнать, почему у нас, при всем этом геройском плавании на льдинах по океану, на киле лодок, в общем не остается как-то соответственного этой стихийной жизни чувства уважения к человеку.

— Как они там живут, внутри этих домов? — спрашиваю я знакомого русского помора.

— Хорошо живут! — отвечает он. — На море он спокоен, потому что на боту у него палуба, каминчик, всегда он на море, всегда он при доме. Прибежит к берегу, и там хорошо: на окнах занавески вязаные и стул с накидочкой, безделушечки на столе, альбом, по стенам зеркала, стулья венские, хоть и не венские, а вроде венских, музыкальный ящик в пятьсот рублей. Живут и жить собираются.

Нужно быть на крайнем Севере, чтобы понять, как звучат эти «занавесочки» и «венские стулья». Все это не обстановка мещанского существования, а символы мужества, силы, терпения.

Я всякими способами стараюсь возбудить чувство национального самолюбия у помора. Но у него этого нет. Все, что в Норвегии, — хорошо, что в России, — плохо.

— Да как же так? — говорю я наконец. — Положим, везде

плохо, но у вас-то, в Поморьи, тоже недурно, и тоже занавесочки есть, и цветы на окнах, и женки хозяйственные, сарафанчики гарусные, юбки новые, башмаки...

Нет ничего слаще для помора, как похвалить его жену.

— По две прислуги держат! — подхватывает он. — Только и знают, что самовар греют. Пьют чай с ситником.

— Так вот... как же так?

— А мы, господин, не от России дышим. Женки с нами первый год тоже на судах в Норвегу ходят, присматриваются. Одна по одной, одна по одной, да так и завели хозяйство. А посмотри подальше от нас: баба — что чурка. В Норвегии только и обучаемся, посмотрим на правду да на порядки, на вежливость. Вот хоть бы команду взять. Пришел в Норвегу, якорь бросил, — все как шелковые: пьяных нет, порядок, спят во-время, едят во-время. Приехал в Архангельск, — опять свое. Мы, господин, не от России дышим.

Поморов принято в наших старых учебниках называть цветом русской национальности, гордостью страны. И вот в который уж раз я слышу это признание...

— Ты думаешь, он тут один! — продолжает помор, показывая мне рукой на жилище Кильдинского короля. — Тут их в одном тысячи, несметные тысячи тысяч.

Мне это показалось парадоксом, и не сразу я понял смысл его слов; но он такой: за Кильдинским королем культурная страна, тысячи таких же, воспитавшихся в гражданской свободе, тяжком труде в горах, таких же одиноких, но невидимо связанных между собою королей. Вот что стоит за Кильдинским королем, и так я понял потом помора.

Пока мы разговариваем, с Кильдинского острова подъезжает лодка; в ней загорелый великан с голубыми глазами, много бочонков. Он сдает груз, принимает почту и уезжает в свое каменное царство. От того, как он уложил свои газеты и письма, как он поклонился капитану и нам, как взялся за весла, веет той неуловимой культурностью, веет тем изысканным наследием веков, которое охватывает нас, русских, при въезде за границу и возбуждает в нас то благоговение, то рабскую подражательность, то восторг, то зависть, то грубое самохвальство.

У нас с помором одно чувство: страна, в которую мы едем,— хорошая. Я вижу, как стесняет его, как ужасно не идет к нему крахмальный воротник и весь этот праздничный костюм. Но нужно подчиниться культуре...

1933 год

Восхищение Кильдинским королем понятно в связи с впечатлениями, полученными от живой картины промыслов на Мурмане в условиях пережившего свой век первобытного коммунизма и первобытной производственной артели. Но, уж конечно, это восхищение мало понятно в условиях нашего строительства, где каждый «король» (индивидуум) в своей деятельности должен быть согласован со всеми «королями», и где все — «короли»... На Кильдине во время революции устроился большой поселок, началось крупное песцовое хозяйство и консервное. Потомки Кильдинского короля растворились в поселении и, говорят, стали комсомольцами. В настоящий момент Кильдин вступает в новый период своей жизни, и все намеченные предприятия ликвидируются.

АЛЕКСАНДРОВСК

От Кильдинского острова рукой подать до гавани, где между скалистыми островами спрятался устроенный недавно город Александровск. С берега его не видно, и, может быть, я не пошел бы туда, в горы, смотреть на чиновничий городок. Но мне нужно побывать у парикмахера: за три месяца я стал походить на тех волосатых костромских людей, которых показывали в Европе за деньги.

И что же я увидел! Правильные линии совершенно одинаковых двухэтажных деревянных домиков. Больше ничего. Кругом скалы, видно лишь небо. Тут живут исключительно чиновники, все это казенные квартиры. Известно, что этот город выстроен буквально по предписанию начальства.

— Но разве они все одинакового чина? — спрашиваю я. — Почему дома одинаковые?

— Чин разный, — отвечают мне. — Кто повыше, занимает весь дом, кто пониже — половину, еще пониже — четверть, и так дальше.

Этот «город» устроен для основания незамерзающего порта, но, по слухам, гавань оказалась неудобной для стоянки судов.

Все тут сердятся на этот город, все говорят, что он совсем не нужен, и что его вот-вот уничтожат.

Я стою посредине города, смотрю на это светлое отверстие из гор в небо, и мне хочется воскликнуть:

— Господи! Из-за десяти праведников ты щадил города. Пощади ты этих несчастных людей. Они невинны.

Пока я так молюсь, из одного домика выходит молодой человек в белом кителе, с тростью, с ним барышня с изящной плетеной корзинкой в руке.

Неужели же и здесь роман?

Я иду за ними.

Сделав несколько шагов, мы подходим к маленькому пруду, поросшему вокруг зеленью, за прудом горы поднимаются вверх, итти некуда. Молодой человек нагибается и что-то опускает барышне в корзину. Приглядываюсь: морошка. Собирают ягоды. Немного спустя они возвращаются обратно, и из открытого окна я слышу звуки граммофона.

Мне остается только искать парикмахера. Вывески нет. Это, вероятно, штатная должность. Парикмахер, наверно, по чину занимает лишь одну десятую казенного домика. Как найти?

Стоит городовой с ружьем, настоящий городовой, охраняет ссудо-сберегательную кассу.

— Где тут парикмахер?

— Чего?

— Цырюльник?

— У нас нет.

— Как же чиновники стригутся?

— Они не стригутся.

И улыбается во весь рот.

Я спрашиваю еще одного солдата, — то же самое. И так я уехал в Норвегию с длиннейшими волосами, и до сих пор мне остается тайной, как стригутся чиновники в Александровске.

Август 1933 г.

Теперь ошибка исправлена; в глубине того же самого Кольского залива сказочно быстро поднимается город Мурманск, но и Александровск цел, и моя улица, где я искал напрасно парикмахера, совершенно в том же самом виде: ни одного домика не прибавилось и ни одного не убавилось, кроме того, конечно, что выстроилось на берегу специально для лова рыбы. В стороне, на горе теперь отстроилась научно-промысловая станция, и вот, кажется, все. Мы встретили на улице прилично одетого человека, он оказался местным аптекарем. На вопрос наш о жизни он махнул рукой и сказал: «Не жизнь, а житие», и, достав из кармана платок, стал протирать свои очки так долго, что мы поспешили уйти и уехать из этого невыносимо скучного города, существующего, кажется, только затем, чтобы на фоне своей не-

подвижности ярче показать стремительное движение Мурманска и сделать вывод из этого путешественнику такой, что для города первое качество есть рост его.

Мне пришлось снова передумать содержание всей части «Колобка», названной в книге «К варягам», 5 августа 1933 года, в день прибытия новым путем, по Беломорскому каналу, в Мурманск первых наших судов. Один из руководителей тралбазы, знаток местного края, М. И. Образцов пригласил нас прогуляться в окрестности Мурманска. Приблизительно в двух километрах от нового города нам показали кладбище тех самых «варягов», о «лучшей» (чем наша) жизни которых так наивно и трогательно рассказано молодым автором «Колобка». Ведь это же было символом веры не только некоторой части интеллигенции, «западников», но и глубоких народных масс: что там где-то, у немцев, у варягов, у англичан, есть истинная, настоящая, какая-то правильная жизнь, в сравнении с которой наша никуда не годится. Мне кажется, эта вера в Запад теперь трансформировалась в ту силу, которая в наши дни несет нашу молодость в область знания. Такие мысли пришли мне в голову, когда я увидел это «варяжское» кладбище, столь непохожее на безобразное русское. Девяносто шесть английских офицеров, среди которых были и лорды, лежали здесь в строгом порядке чина своего и происхождения. Над каждым интервентом, получившим в чужой стране два квадратных метра земли, не лежала, как у нас, а стояла торчком превосходно выделенная плита из красивого серого камня, с гербом, именем, чином и сроком жизни покойного. Нижние чины были зарыты у стен кладбища в братских могилах. По этому кладбищу наши военные люди, участники войны за самостоятельность СССР, ходили теперь и холодно разглядывали надписи.

Через несколько часов после этого с высокой горы мы увидели внизу кипучий город, растущий не по дням, а по часам, и те несколько первых судов, прошедших по каналу и теперь подходящих к городу. Мы видели, как моряки с этих судов стройными рядами, в сопровождении множества горожан, заполнили всю большую площадь.

ВАРДЭ

26 июля

Возле одной из последних русских остановок перед Норвегией помор Петр Петрович, общий любимец пароходной публики, опускает на веревке в воду довольно большой металлический крюк и начинает им дергать в воде. Через несколько минут, к удивлению многих пассажиров, он вытаскивает за бок треску.

— Бульшая рыба, хурошая, — говорит он, и снова опускает крюк, и снова вытаскивает — за глаз, потом за спину; горячится, волнуется и все повторяет свое: — Бульшая, хурошая треска.

— Петр Петрович озверел! — воскликнул наконец один гимназист.

— Озверел, озверел, озверел! — подхватываем мы.

А он все таскает и таскает из воды рыбу и все бормочет:

— Буульшая... Край непочатый, самый лучший край.

Пока пароход стоит, у Петра Петровича набирается целая корзина трески. Потом заказывается уха, и под председательством помора все мы едим знаменитую тресковую уху с максой (печенью).

Так незаметно, весело мы совершаем довольно скучный переезд и въезжаем в царство трески, в пределы северной Норвегии. Городок Вардэ — благоустроенный рыбачий поселок. Сотни всяких судов, амбары, деревянные дома. Город рыбаков.

На пристани нас встречает интересная арка, устроенная для только что побывавшего здесь норвежского короля. Главные столбы ее составлены из сельдяных бочек, верх — ела (бот) в полной оснастке, сверху и по бокам гирляндами спускаются рыбачьи невода с запутавшимися в них головами трески; из сухой трески составлены различные украшения, а также и надписи; вверху по углам выглядывают головы моржей, а в середине — запутавшаяся в невод морская свинка.

Петр Петрович только что был в Норвегии, видел короля и в восторге от него. Он имел даже честь вместе с ним обедать, и это удовольствие обошлось ему всего в десять крон — стоимость обеда.

Всякий желающий мог за эти деньги пообедать с королем.

— Он просто-ой! — повествует нам помор. — Приехал, прошел под этой аркой, смеется, бегает. Тонкий, не успел брюхо наесть... а кругом стоят с брюшками... Пристав, мой знакомый, сигару курит. «Брось, — говорю. — Король!» Смеется, не бросает. «Так что же, — говорит, — король. Я ему представляться не буду». Вот они какой народ.

Петр Петрович полным значения жестом указал на толпу рыбаков, деловитых, серьезных людей, чем-то занятых у пристани.

— Вот они какие! — продолжает помор. — А я подошел поближе к королю, снял шапку и говорю: «Здравствуйте, ваше императорское величество!» — «Здравствуйте»,— говорит мне и тоже снял шапку.

— Это невозможно, — говорю я Петру Петровичу, — король не говорит же по-русски!

— Как не говорит! — изумляется он. — Король?! Король на всех языках говорит.

Через несколько минут лодка доставляет нас на берег, мы с Петром Петровичем проходим под королевской аркой и вступаем на землю Норвегии.

Теперь не время промыслов. И того ужасного запаха трески, о котором всегда говорят, нет совершенно. На улице чисто, — видно, что кто-то прибирает, заботится. Дома, словно картонные, такие легкие, прямо из деревянных досок. Просто не верится, что за полярным кругом можно жить в таких домах.

Норвежцы с усмешкой говорят про Вардэ, что это глушь, что тут смотреть нечего. Но мне здесь все ново и интересно. На эти двухэтажные деревянные дома с высокими крышами, на эти бесчисленные маленькие кафе с особой приморской жизнью, на этих девушек с синими глазами и рослых поморов, на все это я смотрю так, как провинциал смотрит на заезжего джентльмена: совсем не так у нас живут там, откуда приехал этот господин. Ощущение цельного быта страны — вот что волнует меня.

Я бывал не раз за границей, знаю это ощущение, но никогда я не испытывал его так сильно, как теперь. Нигде, вероятно, и нет такого резкого перехода от случайного в жизни людей к чему-то общему, гармонично связанному.

Нет ничего более контрастного, как мурманская жизнь поморов и норвежских рыбаков, города Александровска и Вардэ. Меня встречает история людей, и на время все эти замеченные назади люди, сцены из их жизни, все это сливается с одним общим сознанием преодоления чего-то одного, большого и трудного, назади: нето океана, нето этого черного мурманского берега, похожего на старого окаменелого слона. Там — стихия, здесь — история. Это чувство входит в меня вместе с особенным воздухом приморского городка.

Мне некогда разбираться в нахлынувших на меня впечатлениях, я боюсь отстать от Петра Петровича. Без него я пропал: я не знаю ни норвежского языка, ни английского, а по-немецки и по-французски, вероятно, здесь не поймут.

Подходим к одному домику. Помор что-то бормочет девушке на каком-то странном языке, в котором я узнаю русские, немецкие и английские слова. Это особый русско-норвежский воляпюк, называемый здесь попросту: «моя по твоя». Девушка ведет нас наверх, в маленькую комнату с двумя койками, где мы и устраиваемся.

Приодевшись, мы спускаемся к завтраку. Это не настоящая гостиница. Так живут здесь все люди средней зажиточности. В столовой, которая служит и гостиной, и залом, и кабинетом, висят по стенам ружья и пистолеты, картины норвежских фиордов; на окнах, как у всех северных людей, множество цветов. Поразительная чистота.

— Чистота! — шепчет мне Петр Петрович. — К ним войдешь, так страшно, плюнуть некуда; думаешь, — барин или чиновник, а такой же брат промышленник. На койке белье постелют, так лечь боишься.

Входят две молодые женщины, усаживают нас, ставят на стол кувшин с молоком, вазу с морошкой, темный сыр, похожий на шоколад, хлеб в виде тонких ломтиков из хлопчатой бумаги и уходят за кушаньем.

— Видел? — шепчет Петр Петрович. — Понял, какая — горничная, какая — хозяйка? И не поймешь, и в кухню пойдешь — не поймешь: работают вместе, живут одинаково, едят одинаково.

В ожидании супа мы стараемся перевести надпись на скатерти и с большим трудом разгадываем: «Будем наследовать от родителей дома и имения, но хорошую жену посылает господь».

— Vaer saa god! — говорит нам хозяйка, подав две тарелки супа.

— Vaer saa god! — повторяет она, предлагая хлеб, салфетки.

Это звучит совсем как русское «прошу». Помор так и думает, что она говорит по-русски.

— Услыхала словечко, заладила, и так весь обед будет приставать: прошу да прошу.

Петр Петрович в крахмальном воротничке, приличен, скромен, осторожно вытирает чистой салфеткой усы, я вижу, как он учится, шлифуется.

Ко второму блюду является хозяин — высокий германец с синими морскими глазами. Верно, устал на работе, бросает шапку на стул, приветствует нас и начинает молчаливо поедать хлеб в ожидании супа. В это время дверь соседней комнаты чуть-чуть приотворяется, и оттуда выглядывают две маленькие головки с теми же синими, как и у великана, глазами.

Суровое лицо преображается. Он бросает на нас немного застенчивый взгляд, идет к детям и плотно закрывает за собой дверь. Очевидно, забавляется в ожидании супа.

Как-то не по-нашему. Петр Петрович недоволен:

— Заперся... боится, что мы его детей сглазим. Все они вот какие-то такие... дикие какие-то... Дети и дети, пусть себе бегают! Нет запрета, а вырастут большие, запрутся и сидят в своей комнате в одиночку. Придешь к ним, — все будто не свой... Мы к ним всей душой, а они нет... К нам приедут: живи, сколько хочешь, недели две, угощаем, радуемся. А придешь к нему в гости, — угостит альбомом, уйдешь голодный.

После супа нам подают палтуса и еще какую-то рыбу. Мясо здесь можно получить только в дорогих отелях. Обед кончается морошкой со сливками.

Пища свежая, прекрасно изготовлена, так вкусно съедается на скатерти с надписью о хорошей жене.

После обеда, за столиком с различными норвежскими газетами я пытаюсь завести с хозяином разговор о политике. Но он очень плохо понимает немецкий язык... Я хвалю Норвегию, он хвалит Россию, несколько раз жмем друг другу руки и этим ограничиваемся.

У Петра Петровича какие-то дела с рыбаками, он уходит, а я беру на себя трудную задачу: не зная языка, найти парикмахера и остричься. Долго брожу и не могу нигде увидеть вывески с ножницами и париком. Впрочем, это, вероятно, потому, что меня отвлекают различные побочные цели: я то отвлекусь разглядыванием каких-нибудь особенных норвежских рыболовных принадлежностей, то увлекусь фотографиями Нордкапа, Гаммерфеста, полуночного солнца, иногда покупаю, забывая, что у меня на все путешествие вокруг Скандинавского полуострова имеется всего восемьдесят рублей. Любопытны и характерны для приморских городов бесчисленные маленькие лачужки-кафе, откуда неизменно выглядывают женские головки.

В ресторанах, в кафе, в магазинах — везде женщины. Я разглядываю их и стараюсь воплотить в них ибсеновские образы. Но, как я ни напрягаю воображение, они мне кажутся лишь худенькими бедными немочками с голубыми глазами. Норы я не нахожу. Наконец в окне одной покосившейся лачужки вижу девушку, похожую на Гедду Габлер... Будь, что будет, войду.

Человек пять моряков за столиком, очень нетрезвых, шумят, и в центре их — Гедда Габлер.

— Café! — заказываю я.

Девушка встает, кивает мне головой:

— Vaer saa god!

Куда-то идет, я за ней... по лестнице наверх. Маленькая комната с двумя широкими кроватями, покрытыми красными одеялами, между ними у окна столик и стул.

— Vaer saa god! — говорит девушка и исчезает.

Я остаюсь, немного смущенный. Не рассчитывал и не ожидал. Хотел видеть ибсеновскую женщину. И вот... не совсем чисто...

Через минуту девушка вносит мне чашку кофе с сухарями. Исчезает. Кофе дрянной. Не пить же его тут, между двумя кроватями... Я кладу на столик мелочь и хочу осторожно, незаметно спуститься по лестнице, уйти «по-английски». Достигаю двери, крадусь... выхожу. Заглядываю в окно с улицы: Гедда Габлер, как ни в чем не бывало, узнает меня и кивает головой.

Больше я не делаю опыта в этом роде и ищу глазами ножницы и парик.

Вдруг впереди себя замечаю двух стройных женщин в ярких сине-красно-желтых костюмах скандинавских лопарей. Я видел такие костюмы только на рисунке и в витрине одного магазина. Теперь вижу их на этих высоких, стройных лапландках, совершенно не похожих на наших маленьких несчастных лопарок.

Неужели же они здесь такие благодаря тому, что Норвегия — культурная страна; что в ней каждый, даже кочующий лопарь, обязан пройти семилетнюю народную школу; что в ней лопари строго охраняются от пьянства; что благодаря всему этому вместо больных, истеричных женщин, боящихся стука весла, я вижу перед собой этих стройных и, вероятно, прекрасных дам.

Нет, — догадываюсь я, — это, конечно, не лопарки, а туристки-англичанки. Вот они повернули за угол, и на мгновение мелькнули их строгие, бледные профили. Я тоже за угол: ясно — англичанки; как я не заметил, что такие точеные талии невозможны без корсетов? Вдруг англичанки исчезают в каких-то больших белых воротах, и я вижу перед собой кучи ядер, пушку.

Крепость! Сюда ходить нельзя. Петр Петрович много раз предупреждал меня: не подходить за версту к этой маленькой смешной крепости. Он рассказывал мне, что норвежцы боятся русских шпионов. Стоит им заподозрить в русском шпиона, как сейчас же начинается всеобщий бойкот. Он приводил мне даже в пример одного молодого художника: как тот по неопытности делал эскизы в Вардэ; как сейчас же по всему маленькому городку разнеслась весть о русском шпионе; как перед ним закрылись двери всех гостиниц, и как бедняга страдал, пока наконец, совершенно обозленный, не уехал из Норвегии. А у меня еще фотографический аппарат!

Скорей бежать отсюда! Повертываюсь и вдруг вижу перед

собой военного господина с узкими золотыми погонами. Он что-то хочет мне сказать. Очевидно, спрашивает, зачем я здесь. Не рассказать же ему про англичанок. Впрочем, я же ищу парикмахера.

— Barbier...Friseur...Coiffeur... — пытаюсь я ему объяснить.

Не понимает. Я показываю ему на свои длинные волосы, двигаю по ним двумя пальцами, как ножницами. Нельзя не понять. Он смеется и указывает мне дом с вывеской: «Photographie». Он хочет сказать: моя заросшая волосами физиономия достойна фотографии. Теперь я начинаю пальцем, как бритвой, скоблить свои щеки и в то же время выразительно указываю на его бритые щеки. Он опять смеется и тащит меня за рукав в фотографию.

Мы входим в небольшую комнату с железной печкой, увешанной фотографическими снимками. Молоденькая барышня аккомпанирует на рояле господину со скрипкой. При нашем появлении концерт расстраивается. Военный и господин со скрипкой переговариваются и смеются, барышня тоже смеется. Мне кажется, все смотрят на меня, как на попавшегося в плен хунхуза. Потом господин кладет свою скрипку на рояль, усаживает меня перед зеркалом и начинает стричь. Барышня садится ретушировать фотографическую карточку. Военный уходит.

Парикмахер, — он сносно говорит по-немецки, — в то же время и фотограф, и дирижирует местным оркестром, и заведует ссыпкой угля на пароходы. Иначе здесь жить нельзя. Он рассказывает мне, как трудно вообще жить здесь, как бедствуют рыбаки, несмотря на внешнее благополучие; в годы с малыми рыбными уловами едят даже тюленье мясо; много норвежцев теперь не выдерживает борьбы с природой и переселяется в Америку. В конце стрижки мы — приятели, и хозяин снабжает меня множеством фотографических снимков Норвегии. Потом мы еще долго говорим с барышней о способах ретуширования фотографий, и я выхожу на улицу, очарованный норвежцами.

Заметно смеркается. И здесь, вероятно, уже в это время года солнце садится. По улице вдоль берега моря гулянье. Белая ночь хочет и здесь меня обезволить, отъединить от людей, как и на берегу Белого моря и в Лапландии. Но я чувствую, что ей этого не удастся. Может быть, это оттого, что я в прекрасной культурной стране и так четко убежден в чем-то хорошем.

НОРДКАП

30 июля

Кто-то будит меня. Но я не могу проснуться.

— Allo! — повторяет кто-то, отдергивает занавеску моей койки и энергично теребит за плечо.

— Allo! Allo! Allo!

Это девушка норвежка. Не сразу я понимаю мое положение. Наконец соображаю: я на норвежском товарно-пассажирском пароходе. Вчера я лег спать еще в Вардэ, не дождавшись отправления парохода, и вот, первый раз в свое путешествие устроившись на койке с чистым бельем, подушкой, а главное — за темными занавесками, крепко уснул. Теперь меня будят, очевидно, к утреннему завтраку. Недалеко от койки довольно длинный стол уставлен множеством коробочек с консервами, сырами, рыбками, молочниками. Пока я одеваюсь за своей занавеской, входит господин в морской форме с большой просвечивающей розовой шеей и белой косичкой волос на ней; это капитан, я вчера брал у него билет; потом входит еще блондин, — вероятно, его помощник или штурман; потом седой старичок с упрямым энергичным лицом, какие встречаются у наших староверов, в штатской одежде, — лоцман, как я после узнал. Они устраиваются за столом, а девушка, разбудившая меня, повторяет свое Allo! возле других коек. Пожилой господин с брюшком одевается в форму норвежского почтового чиновника, потом еще господин. Все одеваются, устраиваются вокруг стола. У последнего вставшего господина я замечаю в руках том «Gedanken und Erinnerungen» Бисмарка и вообще нахожу в нем сходство с этим великим человеком.

Я не люблю молчаливого совместного жевания и, садясь, приветствую всех по немецкому обычаю:

— Mahlzeit!

Мне никто не отвечает, все хладнокровно жуют. Они грубоваты, — вспоминаю я мнение путешественников по Норвегии. Мало того, — думаю я, — они совсем неинтересны, и я не вижу разницы между ними и немцами. А немцы так нам знакомы! Вот этот почтовый господин совсем gemütlicher Sachse, Бисмарк похож на пруссака, капитан — тоже, только лопман — что-то своеобразное. Он смотрит на меня как-то недоброжелательно и вдруг довольно грубо спрашивает:

— Рюсьман?

— Russe! — отвечаю я с достоинством.

Происходит какое-то замешательство, будто на мне только что заметили рога Мефистофеля и не знают, что со мной делать на первых порах.

Лопман шепчется с Бисмарком, Бисмарк — с почтовым чиновником, этот — с капитаном, и все повторяют: «Рюсьман, рюсьман».

«Но ведь это куда хуже нашего, — думаю я, глубоко обиженный. — Вот и Норвегия, вот и мои ожидания, вот так культурная страна!»

Все продолжают шушукаться. Наконец капитан, очевидно парламентер от других, спрашивает меня коротко:

— Offizier?

Совсем как на допросе.

— Нет, — отвечаю, — я не офицер.

— Wer sind Sie?

Я назвал свою фамилию, взял фотографический аппарат и вышел на палубу, глубоко возмущенный.

Тут мой любезнейший Петр Петрович. О, родина святая! Что, если бы его не было на пароходе! И что будет со мной, когда он сойдет где-то у Нордкапа? У него там, в одном из норвежских становищ, стоит собственная шкуна, нагруженная мукой. Цель Петра Петровича и состоит в том, чтобы променять купленную им в Архангельске русскую муку на норвежскую рыбу. Когда он сойдет на свое судно, я останусь совершенно один и даже не буду иметь возможности расспрашивать о местности у этих грубых людей, быть может, проеду мимо Нордкапа и не узнаю здесь самого северного мыса Европы. Я рассказываю об утреннем завтраке. Помор смеется.

— Норвежцы, — говорит он, — самые первые наши благодетели, они часто и на воде спасают, и в команде нет лучше норвежца. А это они тебя за шпиона принимают. Видят — не помор, говоришь по-немецки, зачем такому господину тут ехать? Боятся.

Меня как обухом ударило. Ехать несколько дней, спать с ними в одной комнате, есть за одним столом и все время знать, что меня считают за шпиона. А я-то мечтал духовно отдохнуть в стране, которая недавно так легко, простым голосованием народа, расторгла ненавистную унию с Швецией, в стране Бьернсона, Ибсена.

Я так опечален, что не очень внимательно смотрю и на горы, вдоль которых мы теперь едем.

— Темень какая! — обращает мое внимание Петр Петрович на горы.

Это тот же мурманский берег, но только в несколько раз более высокий. Похоже на лапландские Хибинские горы, но только тут и внизу нет малейших следов зелени, прямо глядят в океан голые, мрачные скалы. Иногда у воды виднеются один, два или несколько домиков рыбаков, и перед ними качаются на воде рыбацкие боты совершеннейшей конструкции. Эти жилища людей, такие благоустроенные, с телеграфными и телефонными проволоками, соединяющими их со всей остальной Норвегией, здесь, у океана, у подножия черных гор без зелени, кажутся такими неожиданными. Кажется, творец здесь создавал мир по иному плану. Здесь он прежде всего сотворил человека, а потом осветил хаос и остановился.

— Живи, как знаешь! — говорит и помор.

Я изумляюсь этой жизни еще более, чем на Мурмане — Кильдинскому королю: там хоть какая-нибудь зелень, тут — ничего.

— Вот русским бы поморам такую школу! — говорю я.

— Нет, нам нельзя. Нам из-за бабы нельзя. Наша баба не пойдет. Норвеженка живет одна, ей хоть бы что, а нашей бабе нужна баба, а той бабе — еще баба. Так из-за баб живем мы кучами, а в одиночку не годимся.

Один домик, в котором мы взяли бочонок с рыбьим жиром, совсем висит над водой.

— Вишь, — указывает помор, когда мы отъехали подальше,— смотри: вырос на воде, живет на камне, в воду глядит, что чайка...

Вдруг он хватает меня за руку.

— Смотри! Кит!

Я оглядываюсь в сторону океана, кита не вижу, но замечаю довольно большой водоворот. Где же кит?

— В воду ушел, вон его юро видно.

Немного спустя показывается громадное черное блестящее чудовище. Весь экипаж смотрит на кита. Вероятно, это и здесь редкость.

А Петр Петрович рассказывает мне такой интересный факт из жизни рыбаков: недалеко отсюда есть разрушенный китовый завод, и еще подальше — тоже. Заводы были разрушены рыбаками не очень давно. По мнению русских и норвежских поморов, кит гонит треску к берегу и является добровольным загонщиком рыбы. Когда возникли китобойные заводы, и богатые капиталисты стали массами истреблять китов, то уменьшился и рыбный промысел. Поморы подали в стортинг прошение о сокращении китового промысла. Ответа не последовало. Подали в другой раз. Ответ был отрицательный. Тогда поморы, соединившись, разрушили китобойные заводы. Зачинщиков арестовали, но немного спустя разобрали, в чем дело, и освободили. Китобойный промысел в виде опыта запретили на десять лет, а издержки по разрушенным заводам были покрыты на счет государства.

— И вот опять теперь стали киты показываться, — закончил свой рассказ Петр Петрович. — Теперь часто видят, и трески больше, и всем хорошо.

Пока мы так беседуем, на палубу входят толстый почтовый чиновник и Бисмарк и, очень недружелюбно на меня посматривая, начинают играть в серсо. Каждый из них берет по пяти довольно больших веревочных кружков и по очереди попадают ими на поставленный шагах в десяти деревянный шпиль. Это моцион для полных, серьезных людей. Совсем как немцы в Германии. Не могу же я представить себе Петра Петровича, бросающего веревочный крендель на острие.

Мы скромно становимся в сторону и наблюдаем. Ужасно плохо

попадают, а кажется — так легко. Но они такие толстые, неуклюжие, у Бисмарка кривые ноги. Вот бы им показать! Я не выдерживаю, беру себе пять кренделей и хочу бросить. Оба чиновника мгновенно оставляют игру и уходят на нос парохода.

Теперь ясно, что меня принимают за шпиона. Я вдруг вспоминаю о том, что с фотографическим аппаратом меня видели возле крепости. Рассказываю Петру Петровичу об этом, и он мне опять повторяет, как то же было с художником, как его мучили и с каким дурным чувством он покинул Норвегию.

Что делать? Не обращать внимания? Но как не обращать внимания, когда для меня весь смысл этого отдаленного путешествия состоит в том, чтобы из постоянного общения с людьми узнавать местную жизнь? Что будет со мной, когда Петр Петрович сойдет на свою шкуну? Побросав все крендели, я сажусь на вязку канатов и начинаю грустно разглядывать белеющие паруса судов в океане. Мне припоминаются почему-то встречные лошаденки на большой дороге по бескрайной равнине средней России. Бредет лошаденка, мужик в телеге, какие-то мешки, кожи. Проплывет, как лошаденка, случайный образ на бездумьи, и опять то же безвольное расплывчатое состояние без мыслей. Да что же это? Спохватишься... Начнешь раздумывать: куда бы мог поехать этот мужик, зачем?

Тут, на крайнем севере, в Норвегии, я вдруг ловлю себя где-то у нас, на большой дороге...

Если бы все искренно писать, о чем думаешь в дороге, то, может быть, вместо севера вышел бы юг. Я ловлю себя на большой дороге. Но здесь океан, вот на горизонте бегут суда, совсем похожие на белых чаек.

— Куда бежит это судно?

— В Китай.

— Вот так дорога! А это?

— В Шестопалиху.

— Это?

— В Питер.

Бог знает что... Я пытаюсь разъяснить себе, зачем могут пускаться парусные суда в такое дальнее плавание. И, к своему изумлению, узнаю, что Китай находится здесь около Нордкина;

Питер — тоже; Шестопалиха — вовсе близко; тут же есть какие-то «бирки с крутяками», есть Танин-фиорд, есть Васин-фиорд.

Все это русские названия в Норвегии. Все это места, где русские обмениваются с норвежцами товарами. В особенности останавливает мое внимание мыс, известный под именем «Северной Тонкой». Раньше русские промышленники, отправляясь на промысел зверей на Грумант (Шпицберген), здесь сворачивали в океан. Про эти места они сложили известную на Севере песню груманланов:

Прощай, бирка с крутяками,
Не видаться с русаками!
Прощай, Северной Тонкой,
Не бывать скоро домой.

Возле этого мыса помор мне показывает длинную полоску впереди, вдавшуюся в океан, и говорит:

— Нордкап!

Если бы он не сказал, то я бы не обратил внимания на эту чуть видную полоску земли, но вот теперь смотрю, не отрываясь.

— Что там смотреть-то? — говорит мой спутник,— голые горы, темень, и ничего. А едут...

Он рассказывает, как из Норвегии отправляются сюда «гулебные» пароходы с англичанами; приехав к Нордкапу, туристы при звуках музыки всходят наверх, раскидывают там палатки и сидят, смотрят на солнце. Помор, остановившись раз со своим судном в ближайшем рыбацком поселке, видел, как одного седого старика вели под-руки на Нордкап.

«Этот народ маленько того... хоть бы зверь аль птица, а то голые скалы, темень, ничего...»

Мне хочется заступиться за туристов и за этого старика, которого под-руки вели на Нордкап. Ведь все эти мертвые пустыни оживляются только туристами. Ведь благодаря им мертвый Нордкап ожил и стал что-то значить для каждого. Почему это, — спрашиваю я себя, — мне так интересно видеть Нордкап, а помору — нисколько?

Вопрос откладывается до вечера. Сейчас зовут обедать, потом мы будем у Нордкина и оттуда яснее разглядим Нордкап.

Сидеть рядом с людьми, которые считают меня за шпиона, ежеминутно передавать и получать тарелочки с закуской, с соусом, с этими бесчисленными приправами, как это бывает всегда за границей, и еще приговаривать при этом: «Vaer saa god»,— это невыносимо.

Скрепя сердце, конечно, можно кое-как досидеть до конца обеда, тем более, что норвежский язык мне совсем непонятен. Пусть говорят, что хотят. Но вот наступает продолжительный антракт между первым и вторым блюдами, я вижу, как бесцеремонно разглядывают меня и перекидываются словами: «Offizier, Offizier...» Терпение мое лопается. Я произношу горячую речь на немецком языке. Говорю, как трудно живется в России, как хочется побывать в такой стране, как Норвегия; как у нас любят ее, страну великих писателей, музыкантов, путешественников; как своей мелкой подозрительностью они унижают свою родину, разрушают то, что сделал народ и великие люди. Кончив свою речь, я хочу подсчитать результат. Все, кроме лоцмана, сконфужены; упрямый старик, вероятно, мало понял из моей немецкой речи, спрашивает что-то у Бисмарка. Тот переводит, а лоцман слушает и поглядывает на меня и наконец отчетливо произносит:

— Anar r rchist!

Другая крайность! И тоже, как я угадываю, здесь очень несимпатичная.

— Ну, пусть анархист,— отвечаю я,— у вас же можно иметь такие убеждения. Вот Ибсен был тоже анархистом.

На меня все набрасываются. Ибсен был анархистом! Напротив, капитан даже помнит, как он приезжал к ним в народную школу и читал детям свои произведения.

Они даже немного возмущены и обижены, а я вспоминаю, что Ибсен убежал из Норвегии и всю жизнь скитался вне своей родины. А теперь вот обижаются при малейшем намеке на его неблагонадежность.

Вдруг у меня созревает план мести. Я говорю им, что Ибсен был великий писатель, но у шведов тоже есть недурные: Бьернсон, Кнут Гамсун. Я пересчитываю ряд имен норвежских писателей и называю их шведскими. Такого эффекта я даже не ожидал. Я никак не думал, что писатели, которых, вероятно же, и

не очень-то знают эти захолустные люди, могут быть предметом такой национальной гордости.

Один перебивая другого, говорят они мне, что все знаменитые люди — норвежцы, а не шведы; и это так ужасно, но как это обычно слышать, что иностранцы их всегда принимают за шведов.

— Все норвежцы, все норвежцы.

— Но Гамсун, — говорю я, — он, кажется, швед?

— Все норвежцы, все норвежцы...

— И Бьернсон?

— Норвежец! Уж это такой норвежец!

Пересчитав известных мне норвежских писателей, я перехожу к музыкантам, ученым, называю имена Грига, Михаила Сарса, Нансена.

— Все норвежцы, все норвежцы, — твердят мне собеседники, и, по мере того как накопляются имена, величие Норвегии за нашим столом возрастает, люди добреют, все наслаждаются, как я, иностранец, подавлен.

Наконец я исчерпал все свои знания. Быть может, — думаю я, — приняться за Исландию, ведь она тоже заселена норвежцами, пуститься в сторону скальдов и Эдды. Но кто знает, быть может, тут тоже что-нибудь вроде Швеции. Я не решаюсь испортить настроение.

А они все смотрят на меня — капитан с розовым затылком, Бисмарк, почтовый чиновник, штурман, лоцман, ждут и будто торопят: называй же, называй!..

Мне приходит одно имя, но это, кажется, швед, а нужен непременно норвежец. Я растерян.

Тогда все, один за другим, повторяют мне, бывшему шпиону и анархисту, как самому дорогому человеку, многие славные имена. Я изумляюсь и при каждом имени восклицаю: «Ah!»

Скоро и они исчерпывают запас знаменитых земляков. Тогда я предлагаю выпить за прекрасную, любимую нами страну Норвегию. Мы чокаемся стаканами вина с Бисмарком, капитаном, штурманом, почтовым чиновником. И даже угрюмый, недоверчивый лоцман выпивает со мной и что-то бормочет, вероятно, хорошее по моему адресу.

Выпиваем еще за Россию и еще за Норвегию...

Я прошу разбудить меня у Нордкина.

Нордкин — северный рог. Нордкап — северный мыс.

Нордкин — самая северная часть материка. Нордкап — остров, отделен проливом, но почему-то знаменитее Нордкина. Между тем и другим — широкий Tanenfiord.

Я вышел на палубу на рассвете. Солнечный луч остановился на скалах. Рог стал золотым. Пароход свистнул. Бесчисленные белые птицы сорвались с птичьего базара, рассыпались над океаном, будто мелко изорванная белая бумага.

Капитан знает, как это красиво, как любят туристы глядеть на эти скопления птиц на скалах. И, чтобы сделать мне приятное, дает еще несколько свистков. И еще, и еще слетают птицы с черных скал в золотое пространство, падают на зеленый океанский след парохода, сыплются, будто сказочный серебряный фонтан. Крик, шелест, хлопанье крыльев...

За фиордом вытянулся в океан высокий Нордкап, будто черная крепость Европы. Будто это старый и мудрый ученый, — приходит мне в голову: так отчетливо вырисовывается высокий лоб, выражающий неуклонную волю. Кто это был тот седой старец, которому помогали взойти на Нордкап? Сколько значения в этих звуках оркестра, о которых рассказал вчера помор! Это было празднество Европы на своей последней твердыне.

— Пустая земля, черный камень, даже зверь не заходит, — говорит помор. — Что в ней?

Ничего. Это символ ума и воли здесь, в золотых лучах восходящего солнца.

Но какой он при полуночном свете, когда все эти белые птицы рядами сядут на черных скалах? Неужели эта упорная воля не смирится? Или когда наступит зимняя ночь?

Не знаю. Теперь, на рассвете, Нордкап непоколебим и мощно красив.

— Край света! Пустая земля! — рассеянно повторяет помор.

Мы въезжаем в глубь Tanenfiord'a, между Нордкапом и Нордкином: оба мыса, пока мы внутри фиорда, не видны. По обеим

сторонам стоят высокие черные стены. Солнце врывается внутрь и освещает то одну, то другую сторону фиорда, и черные горы становятся то красными, то фиолетовыми, то синими, показываются фигуры то огромного зверя, то окаменелых богов.

Этот фиорд глубоко врезывается в материк, доходит почти до Varangerfiord'a, который выводит в Россию, к Мурману. Мы едем в глубь фиорда, чтобы взять пассажиров с какого-то рыбацкого становища.

К нам приближается лодка и в ней высокая мужская фигура в широкой черной шляпе, несколько женщин и мужчин.

Вот оно, основание, на котором создался Бранд Ибсена! Эти горы возле прозрачной воды и есть та каменная пустыня, куда увел толпу проповедник.

Лодка приближается... Все эти темные фигуры женщин и мужчин входят по трапу на пароход молча. Молодой человек, вероятно пастор, такой задумчивый, интересный в своей широкой черной шляпе, пропускает всех вперед, а сам последним взбирается по трапу на пароход. Такое молчание в горах, так прозрачно, так светло; и в небе, и в горах, и в воде, и в этих странных темных фигурах — тайное согласие.

Нет, никогда не надо подходить к природе от поэта, нужно делать всегда наоборот, иначе одно нечаянное слово, случайный взгляд могут совершенно испортить картину.

Пастор вступает на пароход, и вдруг в этот момент срывается бочка с тресковым жиром и с грохотом падает в трюм.

— Это оттого, — говорит нам Петр Петрович, — что поп ступил. Этот поп. Я видел его в Гаммерфесте... в церкви.

Молодой пастор спускается в каюту, и, пока мы слушаем все неприятности, возникшие по поводу разбившейся бочки, он появляется в сером пиджачке и модной велосипедной фуражке.

— Ну, вот тебе и поп! — воскликнул Петр Петрович. — Поди, узнай его.

— Не то, что наш! — подаю я реплику.

— Наш... Нашего попа, брат, далеко видно... А это что! У них до тех пор попа не знаешь, пока не войдешь в церковь. Бывал я, знаю... Все сидят, читают... Выйдет поп и начнет кричать что

есть духу, и что ни крепче, то лучше. Кричит и руками машет во все стороны. Сидишь-сидишь, слушаешь-слушаешь, пока не загогочешь, а засмеялся, сейчас тебя под-руки, и выведут.

Мы смеемся... Но где же, где же мой Бранд, которого я увидел в этом диком северном фиорде?.. Такого уж спутника послал мне бог... но не в спутнике дело, а в методе... Никогда не нужно итти по стопам поэта.

Пастор дружески трясет руки Бисмарку и почтовому чиновнику. Поговорив немного, они подходят к серсо, берут веревочные крендели и хотят играть.

— Wünschen Sie? — предлагает мне крендель Бисмарк.

Я согласен.

— Sie? — предлагает он моему спутнику.

Но Петр Петрович не желает, ему ужасно не к лицу бросать веревочные крендели на деревянное острие.

Возвратившись из длинного фиорда, мы снова еще ближе подплываем к Нордкапу. Бросаю серсо и ухожу на нос парохода. В маленькой бухточке у берега приютился дом. Подле него другой и третий. Все домики в тени. Почему они так устроились? Бывает у них солнце или нет?

Пароход дает условный сигнал, хозяева со своим грузом должны выехать на пароход. Но никто не показывается, никто не откликается, будто давно уже все вымерли.

Из тени на свет выбегает телеграфная проволока и, блестящая, бежит от столба к столбу в горы...

«Да разве это одиночество? — думаю я, глядя на эту проволоку. — Это самое лучшее обещание. Одиночество там, позади, в наших архангельских лесах».

Мне приходит в голову тот монах у Голгофской горы, для которого время остановилось, и города уже начали проваливаться; вспоминаются эти поморы, промышляющие зверей на льдинах, всегда вместе и всегда одинокие для мира; вспоминается красное полуночное солнце в Лапландии среди брошенного, вымирающего народа. Вот где одиночество, а это — общение.

Что-то долго собираются. Пароход дает еще нетерпеливый сигнал.

Вдруг в одном из этих домиков у Нордкапа открылось окно,

кто-то махнул платком, и потом я услыхал такую высокую радостную музыкальную ноту. Быть может, это ребенок повернул ручку инструмента или ударил по клавишу пианино.

Но этот звук такой светлый, совсем как золотой луч в горах фиорда.

Мне кажется, что он вырвался из окна и побежал по этой светлой блестящей проволоке через горы...

Вышли люди — мужчины, женщины, дети. Поплыли на лодке к нам.

Стали грузить бочки, загремела лебедка, застучали весла.

А мне показалось, что золотой звук все бежал и звенел и светился на проволоке в горах.

ГАММЕРФЕСТ

2 июля

Пока мы едем из фиорда в фиорд, от одного рыбачьего поселка к другому, медленно приближаясь от Нордкапа к самому северному городу Европы — Гаммерфесту, садится солнце, наступает ночь, почти такая же, как на Белом море, когда солнце хотя и садится в воду, но все-таки выглядывает и в полночь одним глазком, своей полуночной зарею. Почти такая же природа, как и в Русской Лапландии на озере Имандре, но только здесь, кажется, мы поднялись еще много выше над землей. Здесь не прозрачные, чистые горные озера, а океан, здесь горы не опушены внизу хвойными лесами. Здесь только вода и черные вершины, высокие, сгрудившиеся и маленькие черные, убегающие от больших в океан.

Нет и следа земли. Но, когда пароход огибает скалу в фиорде, я иногда замечаю, как пучок лиловых колокольчиков свешивается из скал к воде, будто чашечки жаждут напиться этой легкой прозрачно-зеленой воды фиорда.

Как и в Лапландии, мне кажется, что мы плывем в ковчеге после первого спада воды. Далеко в глубине этих вод лежит теперь затопленная грешная земля. Но уже спадает вода, уже слышен аромат земли, и вот уже показались эти первые лиловые колокольчики. Если теперь выпустить голубя, то он принесет не масличную ветвь, а эту чашечку цветов.

В одном месте мы так близко у скалы, что я, если бы не быстро бегущий пароход, а лодка, схватил бы рукой цветы. Но пароход бежит быстро, лиловые чашечки становятся темными на фоне пылающего красного неба, на фоне этого зеленого следа по голубой-малиновой-синей воде.

Слышно, как, журча, стекает вода, и все более и более обнажаются горы.

Еще неделя — и я буду внизу, между высокими зелеными деревьями. Буду ходить по траве.

На корме никого нет. Почему-то все на носу парохода. Почему это? Я повертываю голову туда и вдруг вблизи вижу белый сказочный город.

Гаммерфест!

Все происходит так быстро. Эти белые мраморные дворцы в белом сумраке все еще не стали обыкновенными домами и рыбными складами. Эти ряды вдумчивых кораблей с белыми крыльями еще не шкуны русских поморов, но мы уже у пристани: мои спутники уплывают на лодке к берегу. Нужно и мне перебраться.

— Как бы это сделать? — спрашиваю я капитана.

— Flotman! — кричит он лодочнику.

Тот берет мои вещи, и мы плывем к берегу. Толпа народа, суета, я один на берегу с своим чемоданом, не знаю, как спросить носильщика, как назвать гостиницу. Спрашиваю одного, другого. Спрашиваю на немецком, французском языках. Меня не понимают.

Я вдруг чувствую наконец все легкомыслие своей поездки в Норвегию без путеводителя, без подготовки. Пока были со мной поморы, я ехал как по России, и вот теперь только чувствую свою беспомощность.

Спрашиваю одного, другого, третьего. Наконец ко мне подходят два маленьких мальчика, кричат мне: «Рюсьман, рюсьман», схватывают чемодан и тащат куда-то. Мы поднимаемся в гору, я вижу, как трудно нести мальчикам тяжелый чемодан, беру его сам, тащу, а они бегут впереди.

Высокий отель. На балконе много женщин. Мальчики что-то говорят им, показывая на меня, нагруженного своими вещами. Вероятно, вид мой не внушает доверия: они отрицательно кивают головой.

— Рюсьман, рюсьман! — говорят мальчики таким тоном, что мне слышится: «бедный рюсьман».

Я пробую заговорить с дамами на балконе, но они не понимают и с состраданием смотрят на мой чемодан.

— Бедный рюсьман, бедный рюсьман!

Я понимаю свое положение так: эти женщины боятся видеть

в богатом отеле человека, не имеющего средств взять носильщика для такого тяжелого чемодана.

— Бедный рюсьман, бедный рюсьман! — все повторяют дети и тащат меня за руку дальше, к другому, маленькому отелю. Там то же самое. И еще к одному. То же самое.

Что мне делать? Больше отелей нет. Мне приходит в голову такая мысль: в Поморьи я познакомился с одним молодым человеком, хозяином парусной шкуны; он говорил мне, что в августе он будет стоять в Гаммерфесте, закупать рыбу; он просил меня, если я буду в Норвегии летом, побывать у него и даже остановиться на шкуне. Указываю мальчикам рукой на мачты русских судов в фиорде и называю фамилию помора: Сметанин. Kapitan Smjetanin! — весело подхватывают мальчики и бегут к берегу.

— Kapitan Smjetanin! Kapitan Smjetanin!

Все знают его. Flotman везет меня к русским судам. Никогда не забуду я этого длинного ряда высоко поднятых вверх шпилей шкун, этой аллеи парусов, этой радости, что вот сейчас я с поморами заговорю на русском языке, устроюсь.

— Сметанин... где тут судно Сметанина? — спрашиваю я одну темную фигуру, в которой сразу узнаю русского помора.

— Греби к третьей шкуне, — отвечают мне.

— Где Сметанин?

— Я Сметанин.

— Семен Федорович?

— Нет, я Василь Федорович, а Семена нету, Семен ушел в Россию.

Вот беда! Я объясняю свое положение. Помор не верит, что в гостинице нет комнат, смотрит на меня хитрыми русскими глазами, и я читаю в них: ладно, ладно, ври ты, не хочешь денег платить за номер.

Ах, эти хитрые русские глаза, этот взгляд искоса, проникновенный, обидный, унизительный. Этот взгляд видит в каждом новом человеке непременно жулика. Никогда в жизни я не понимал так ясно противоположности германцев и славян. Эти доверчивые, открытые голубые глаза германца и эти хитренькие славянские глаза.

— Иди к русскому консулу! — говорит мне помор.

— Но теперь ночь, — отвечаю я. — Ведь консула не принято будить ночью из-за того, чтобы найти комнату в гостинице.

— Ничего, он не спит, он хороший...

Вот и знаменитое русское гостеприимство!

— Можно бы и на шкуне у меня переночевать, — хитрит помор, видя мою нерешительность.

— А... — подаю я реплику, полную желания переночевать на судне.

— Да он не спит, консул хороший.

— Прощай! — говорю я.

И мы плывем опять к берегу.

«Бедный рюсьман, бедный рюсьман!» — встречают меня голубые глазки норвежских ребят.

«Консул» — слово понятное. Меня ведут к консульскому дому на высоком берегу фиорда. Жутко звониться... Ночь.

Консула нет дома.

— Бедный рюсьман! — грустно твердят мальчуганы.

Я даю им мелочь и отпускаю. А сам, в полном изнеможении от тяжелой ноши, сажусь на лавочку у фиорда, готовый хоть всю ночь ждать возвращения консула.

Фиорд спит и горит полуночной зарей.

Как, вероятно, красивы этот фиорд, и этот белый город, и этот ряд морских кораблей! Но я ничего не вижу, ничем не наслаждаюсь; усталый, перевожу глаза из стороны в сторону, прислушиваюсь к шагам: не идет ли консул. Только один огромный черный камень, высунувшийся из воды на середине фиорда, навсегда остается в моей памяти.

От нечего делать курю, подсчитываю расходы и вдруг холодею: от восьмидесяти рублей остается сумма, с которой невозможно доехать до России, если даже не в гостинице ночевать в будущем, а на лавочке у фиордов. И как это незаметно вышло: выпитое вино в честь норвежских великих людей, фотографии, образцы рыболовных принадлежностей, лапландский костюм. Зачем я купил этот костюм, не носить же мне его?

Единственный исход — ехать обратно в Россию опять по тем местам, где пробежал мой несчастный волшебный колобок. Ни за что! Разве у консула попросить? Но что такое консул? Я никогда

в жизни не видел ни одного консула. Какие они? Может быть, с такими же глазами, как капитан?

И вот его шаги...

Решительная минута... Если глаза не такие, попрошу. Ко мне приближается маленькая фигура в форменной фуражке с большим портфелем в руке. Я встаю, иду навстречу. Консул, не доходя шагов двадцати, любезно раскланивается, я отвечаю тем же. Потом роется в портфеле, достает какой-то лист, подходит.

И дарят же такими сюрпризами эти светлые северные ночи! Мой консул вдруг превращается в прекрасную девушку в форме норвежского почтового чиновника и с глазами цвета лиловых колокольчиков. Девушка подает мне почтовый лист, похожий на газету, я разглядываю его, ничего не понимаю и спрашиваю:

— Was ist das?

Лиловые колокольчики улыбаются.

Я спрашиваю на всех языках.

Колокольчики молчат.

Хочет уйти. Но я указываю на чемодан, говорю:

— Рюсьман, отель.

— Рюсьман... отель, — соглашается девушка и ждет, что же еще я скажу...

Что бы выдумать такое? Одно удачное слово — и я спасен. Но слово не приходит, я повторяю только:

— Рюсьман, отель.

Девушка кивает головой, повертывается, превращается в почтового чиновника и исчезает.

И опять прозрачная, пустая белая ночь без лиловых колокольчиков черным камнем смотрит на меня с фиорда.

Что же делать? Я сижу еще час. Заметно светлеет, на камне блестит отблеск зари.

Вдруг мне приходит в голову счастливая мысль: Гаммерфест служит центром русско-норвежской торговли, — не может быть, чтобы тут, на пристани, не было ни одного человека, говорящего по-русски. Быть может, по-русски-то больше здесь понимают, чем по-немецки.

Подхожу к пристани, становлюсь на свой чемодан:

— Понимающие по-русски, отзовитесь!

Ко мне подходит молодой норвежец, раскланивается, спрашивает довольно чисто по-русски:

— Чего угодно?

— Голубчик мой, — хватаюсь я за него. И рассказываю о мальчиках, о консуле, о почтовом чиновнике.

Он много смеется. Превращение почтового чиновника и ему кажется загадочным. Насколько он знает, в Гаммерфесте нет женщин-чиновников на почте. Дела мои устраиваются в пять минут. Я получаю удобную комнату в лучшем отеле. Щелкает пуговка, и при электрическом свете меркнет в окне бледный лик белой ночи.

Консул рад мне помочь, рад побеседовать со мною, но нам мешают то-и-дело входящие в комнату русские поморы. Теперь как раз время, когда они разъезжаются домой, потому что за лето они нагрузили свои шкуны треской и променяли муку. Они входят к консулу, частью чтобы проститься, частью чтобы выполнить какие-то формальности.

Сегодня я, устроенный во всех отношениях, думаю о них лучше, чем вчера ночью. Мне приятны их свободные манеры, их морская грубоватость. Войдет в двери и не остановится у порога с шапкой в руке, как у нас, а прямо подходит к консулу, жмет его руку, жмет мою руку и усаживается на стул.

— Походишь? — спрашивает консул, применяясь к их языку.

— Ветер походный, иду.

— С мукой?

— Нет, разделался...

Это значит — променял всю муку. Сущность торговли состоит в том, что помор берет в долг в Архангельске муку, меняет ее на рыбу в Норвегии и, продав ее, уплачивает за муку. Знание этого дает мне возможность решить экономическую загадку, предложенную консулом: каким образом русская мука часто дешевле в Гаммерфесте, чем в Архангельске?

Сидит помор, «беседует» чинно и важно. Мы говорим об этом, интересующем меня морском пути на парусном судне от Архангельска до Гаммерфеста. Я узнаю удивительные вещи. До сих пор еще русские моряки не считаются с научным описанием лоции Северного Ледовитого океана. У них есть свои собственные лоции,

собственные названия вроде тех, которые я уже слышал: «Китай», «Питер», «Шестопалиха». Описание лоции поморами — почти художественное произведение. На одной стороне листа — описание берега, на другой — выписки из «священного писания» славянскими буквами. На одной стороне — рассудок, на другой — вера. Пока видны приметы на берегу, помор читает одну сторону книги; когда приметы исчезают, и шторм вот-вот разобьет судно, помор перевертывает страницы и обращается к Николаю-угоднику. Есть среди поморов, — рассказывают мне, — удивительные храбрецы. Раз один старик пришел из Архангельска в Гаммерфест без компаса. Как же так? — спросил консул. — Как же он шел? Помор указал рукой какое-то направление. А раз даже было так, что один помор решил удивить Европу. Сделал почти совершенно круглую лодку, прицепил к ней паруса собственного изобретения и пустился океаном на парижскую выставку. Он благополучно проплыл по Белому морю до Архангельска, проплыл Моржовец, Сосновец... Последний раз его видели где-то у Трех островов... там, вероятно, он и погиб.

Одни поморы приходят к консулу проститься, другие — являются с норвежцами к третейскому суду.

Входят два помора — русский и норвежец, оба с голубыми глазами, оба высокие, здоровые моряки. Пока они оба рассержены, пока, перебивая один другого, на своем языке рассказывают консулу причину ссоры, их почти нельзя отличить друг от друга, потому что море шлифует всех одинаково. Но вот действие развивается.

У консула простая и оригинальная система суда: молчание. Чем больше он молчит, тем больше горячатся поморы, наконец объясняются между собой. Состязание происходит исключительно в диалектическом отношении, оба чувствуют молчаливое руководящее присутствие консула.

Действие начинается с того, что оба говорят друг с другом не по-русски, не по-норвежски, а на особом русско-норвежском воляпюке «моя, твоя», состоящем из русских, немецких, английских и норвежских слов.

— Сюль (я) капитан, сюль правило (кормщик), сюль принципал! — восклицает гордо русский.

Но я уже вижу, как на голубые глаза помора, как тень, набегает русская хитреца. Неспроста он гневается, думаю я. Сейчас у него мелькнул целый хитрый план атаки.

— Ист (есть) твоя фишка (рыба) на мой палуба! — гневается норвежец.

Этот сердится без плана, лицо умное, но без плана. Помор это отлично понимает, и я читаю в его глазах: «Дурак ты, немец».

— Моя спрекам (sprechen)... Твоя спрекам. Моя, твоя, моя, твоя, моя...

И вдруг оба останавливаются в пылу сражения. Язык «моя, твоя» изменил.

Тогда один говорит по-русски, а другой — по-норвежски. Так это легко становится, будто вращаются шестерни, освободившиеся от передаточного ремня. Русский говорит по-русски, но уверен, что это у него по-норвежски, а норвежец так же уверен, что говорит по-русски... Консул в двух-трех фразах переводит смысл сказанного. Его спокойное вмешательство обезоруживает поморов. Оба, как и вначале, некоторое время говорят, обращаясь к консулу. Потом опять схватываются, но более спокойно: моя, твоя, моя, твоя...

Тонкая хитреца на лице русского, как извилистая тропинка по мечтательным бескрайным полям, вьется-вьется-вьется. Норвежец принимает это за простодушие, — оба стихают. Консул встает, мир заключен. Норвежец платит деньги:

— Вот моя пеньга (деньги) имей!

Оба жмут друг другу руки, как ни в чем не бывало.

— Твоя по-рейза (reisen)? — спрашивает норвежец...

— Моя рейза (еду). А твоя?

— Моя, когда ven (ветер).

Норвежец уходит, а русский торжественно приглашает нас откушать на судне и, получив согласие, удаляется готовиться к встрече важных людей.

Нас уже ждет у берега лодка. На судне спущен трап. Хозяин в черном сюртуке стоит у борта, извиняется, что трап подали с левой стороны, — это по их правилам невежливо, но делать нечего: правый борт загроможден бочками.

Ах, если бы меня вчера ночью одного, без консула, так при-

няли! Какой бы гимн пропел я русскому гостеприимству. Но теперь... Это не те поморы, к которым лежит моя душа. Те совсем сливаются со стихией. Те плавают по океану на льдинах, подносят своему богу звериные шкуры и деньги за спасение, курят табак в океане на дне опрокинутой лодки. А эти — обыкновенные хитрые купцы, они тут подучиваются у норвежцев вместе со своими женками и устраиваются хорошо.

Хозяин, поглаживая по голове мальчика, рекомендует:

— Это старшенький, у меня их семь номеров.

Потом усаживает нас на мягком диване, под иконой с горящей лампадой. Входят родственники с других шкун, кланяются, извиняются перед хозяином за костюм:

— Мы к вам по свойству, по знакомству.

Входят молодые, новобрачные, — медовые месяцы у поморов принято проводить в «Норвеге». Все усаживаются вокруг самовара. Сверху, из люка доносятся русские слова.

Угощают нас по-русски, по-демьяновски.

Трудно поверить, что все это совершается в Норвегии, в стране викингов и скальдов, Бьернсона и Ибсена.

После торжественного приема нас поморами мы с консулом совершаем небольшую прогулку в окрестности Гаммерфеста. Прежде всего он мне показывает «парк». Между горами у ручья каким-то чудом выросло несколько десятков кривых березок в рост человека, и под ними множество лиловых колокольчиков. Местечко это обнесено решеткой с надписью на трех языках: «Щадите эти растения». Вокруг расчищены дорожки, устроен ресторан. Тут катаются детские коляски, гуляют молодые парочки.

Это последние березки, это гордость Гаммерфеста, самое замечательное его местечко, полное трогательного значения. Кажется, что вокруг этих последних зеленых листьев собралась и последняя общественная жизнь. Севернее, откуда я приехал, хоть и поражают эти жилища рыбаков, но трудно удержать теперь, в виду этой зелени, чувство несогласия с этой жизнью, с ненормальностью ее... Я делюсь своими впечатлениями с консулом, и он вполне соглашается со мной: жизнь на севере Норвегии совершается за счет юга. Третье, четвертое поколение на Се-

вере, — говорит он, — вырождается, и потому так часто рядом с гигантами-поморами встречаются мелкие, худосочные люди. Никакая самостоятельная культура на крайнем Севере невозможна. Невозможны искусство, литература. Все эти знаменитые писатели, о которых мы знаем, воспитывались в южных, благодатных фиордах. Здесь они бывают только проездом.

Осмотрев этот маленький парк, который навсегда остался во мне символом северного трагизма, мы возвращаемся в город и долго бродим здесь по улицам. От своего собеседника я узнаю много интересных подробностей местной жизни, о недавнем приезде сюда короля. Консул, как многие другие, обедал с королевской четой. Вместе с ними обедал и кучер, возивший короля по городу. Вышло это так: один местный владелец пары хороших лошадей предложил королю пользоваться ими на время пребывания в Гаммерфесте, а так как у него не было прислуги, то возить короля вызвался сам. Король согласился и в свою очередь угощал его обедом... Как известно, в Норвегии теперь одно сословие, демократизм такой же, как и в Америке, а классовые различия не так велики: всем более или менее трудно жить в этой суровой стране. Очень часто чиновники совмещают в одном лице много разных должностей. Основанием для жизни такого человека служат обыкновенно его доходы как рыбного торговца.

Так, болтая о том и о сем, мы приходим в почтовую контору спросить, нет ли писем до востребования. Я берусь за ручку двери, как вдруг она сама открывается, и навстречу нам выходит чиновник-девушка с глазами цвета лиловых колокольчиков, кивает мне головой, как знакомому, улыбается и, спешно приняв деловой вид, исчезает. Изумленный, я долго смотрю ей вслед.

— Что вы? — спрашивает консул.

Я рассказываю о вчерашней встрече, как о каком-то загадочном видении. И вот теперь, если меня не обманывают чувства...

— Тут ничего нет особенного, — смеется мне консул. — В Норвегии сорок пять тысяч женщин «лишних», ищущих труда.

Воскресенье. Утро. Звонят в церквах. До отъезда мне хочется побывать в норвежской церкви. Выхожу. В воскресенье Гаммерфест внутри похож на маленький немецкий городок. Это сказы-

вается как-то и в этих бесчисленных детских колясочках, и в чисто выметенных улицах, и в праздных позах немножко смешных без дела людей, и в том же монотонном тильканин в церквах. Вот только фиорд и горы говорят, что это Норвегия.

В церкви все с молитвенниками ожидают пастора, играет орган... Хотелось бы сказать: «Германия», но я замечаю на боковых местах плотные фигуры норвежских рыбаков с выбритыми подбородками и бородой из-под низу, с их голубыми, морскими глазами.

Входит пастор... тот самый пастор, с которым мы встретились в Tanenfiord'е, которого я принял за Бранда, но потом играл с ним в серсо. Какой у него теперь торжественный вид, какая грозная речь! Я не понимаю по-норвежски, но глаза суровых рыбаков увлажаются; один спрятал лицо в ладони, другой вытирает глаза платком. Мне как-то не приходилось замечать этого в немецких церквах. Вероятно, и тут сказывается Норвегия, море.

Выхожу. Несколько русских бородатых поморов стоят у окна церкви, строят безобразные рожи, что-то показывают на пальцах, смеются.

— Что вы тут делаете? — спрашиваю я.

— Да наши робята норвежского попа слушают. Смешим.

— Зачем?

— Рассмешим, а они и загрохочут, их и выведут. Чудно!

Невозможная дичь! Но такие рожи! Я хохочу и радуюсь, что не посмотрел на окно, когда был внутри церкви. Спешу скорее улизнуть от земляков, чтобы не быть скомпрометированным.

Прямо за городом высокая черная каменная стена горы. На ней тропа, вероятно, для прогулок. Иду, а за мной бегут торжественные звуки церковного органа и еще веселые аккорды рояля и треск от канатов с фиорда: поморы натягивают паруса. На горы хорошо подняться, не глядя вниз, а потом, добравшись до вершины, сразу, будто на крыльях, облететь все внизу.

Маленький карточный городок, разбитый на правильные квадратики, несколько игрушечных церквей, кладбище, на котором движется черная точка, и много корабликов с натянутыми парусами у берега.

Теперь я уже приучил глаз измерять морские расстояния в

этом прозрачном северном воздухе. Я знаю, что вот до того белого паруса верст десять, новичок скажет — верста.

Звуки я слышу отсюда резко, отчетливо: орган и рояль.

Нет ничего противоречащего в этих звуках. Одно не мешает другому. Отсюда, с высоты, мне кажется, что это звучат согласно две разные стороны жизни.

Воскресенье... чего же больше?.. Кто молится, кто веселится. Так это просто и понятно.

А у нас...

Мне по контрасту вспоминается Голгофская гора Соловецкого монастыря; вспоминается красное вечернее солнце над морем, будто лампада над черной усыпальницей; вспоминаются таинственные желтые, черные лики с тревожным отражением огоньков; вспоминаются кривые извилины от неискренних улыбок на бледных, восковых лицах монахов, черная толпа богомольцев, ожидающая чуда...

Как там необыкновенно, как сгущаются родные черные краски отсюда, издали, в этом чистом воздухе фиорда, под эти согласные звуки органа и рояля.

Ясен и прост кажется теперь этот смысл человеческой жизни, направленной по твердой колее упорного будничного труда и сопровождаемой торжественными и веселыми звуками.

Но ведь это...

Ничего, ничего... Это воскресенье, чего же вы хотите? Люди отдыхают, люди непременно должны отдыхать...

LINGENFIORD

(Письмо к другу)

7 августа

Дорогой друг, последнее письмо я послал вам из Соловецкого монастыря, а теперь, — воображаю, как вы изумитесь, — из Норвегии. Пишу на пароходе, где-то возле Лофоденских островов. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями в знаменитом Lingenfiord'е.

В Гаммерфесте русский консул, мой новый хороший знакомый, отметил на карте все интересные места. Одним из таких мест и был Lingenfiord со своими ледниками. Пароход вышел вечером. Ехали мы вдоль темного изрезанного фиордами берега. Но, в сущности, берега в общепринятом смысле здесь нет: пароход скользит между горами, на минуту покажется океан, и опять обступят горы. Ни деревьев, ни травы; кажется, будто только что стали стекать воды после потопа, и обнаружились эти вершины. Закат солнца в Норвегии — это пожар в горах. Мы едем вперед, а солнце поджигает новую и новую черную гору...

Утром выхожу на палубу: дождь и туман. В Норвегии, — я слышал, — летом из трех дней два бывают дождливые и туманные. Я ушел в каюту в дурном расположении духа: дня три-четыре такой погоды, и я обогну почти весь Скандинавский полуостров, ничего не увидевши. В таком грустном размышлении я вышел на палубу после завтрака. Туман еще скрывал все кругом, и все, что я видел сначала, — это отблеск света на зеленой килевой воде. На это светлое пятно смотрели и другие пассажиры: старик-моряк с характерной для норвежцев бородой из-под низу, с ним мальчуган, студент в черной шапочке со значком и с бантом на плече, рядом с ним худенькая, как все норвеженки, дама

в черном, с пучком лиловых колокольчиков, со светлыми локонами из-под закинутой назад зюдвестки. У них что-то есть общее в том, как они смотрят на море. Смотрят будто и рассеянно, без определенной мысли, как мы смотрим на наши расплывающиеся дали. Но вот переведет глаза на другое место горизонта, и тут сказывается что-то свое, норвежское: блуждают они, что-то предприняв, решив, потому что знают тайну своей природы.

Так мы смотрим на светлое пятно в тумане и чего-то ждем. Вдруг где-то махнуло белым. Мы все взглянули туда: светящееся ожерелье поднималось по открывшейся черной горе с белой вершиной.

Махнуло еще где-то белым, еще и еще. Одна вершина открывала другую... Казалось, что в глубину фиорда медленно удалялась гигантская фигура, закутанная в белый туман. И, право же, я видел на снегу от вершины к вершине следы ног...

Кто-то ступал и закрывался, а за ним оставалось в небесах светлое утро творения мира.

Нет, я не буду вам описывать, не могу, приезжайте сами посмотреть на эти чудеса. Вероятно, я очень расчувствовался, потому что дама с лиловыми колокольчиками вдруг с любопытством посмотрела на меня, а студент даже заговорил. Я ответил ему по-немецки, представился. То, что я оказался русским, его заинтересовало. Он сейчас же представил меня и даме с лиловыми колокольчиками и еще одному студенту. Минут через пять мы уже говорили об Ибсене, о Толстом, о больших неразрешимых вопросах, совсем-совсем как у нас, в России, в студенческой компании. Я рассказывал, шутя, о своих приключениях на крайнем севере, о том, как меня приняли за шпиона только потому, что я назвал себя русским.

— Что делать! — серьезно сказали студенты. — Мы должны бояться. Россия такая большая страна, а Норвегия — такая маленькая.

— Хорошо, — сказал я, — если бы она была под интернациональной защитой.

— Никогда! — вдруг вспыхнул студент.

Это «никогда» было сказано таким тоном, что я поспешил поправиться:

— Вот так, — сказал я, — как Швейцария.

— Да, как Швейцария, — это другое дело!

И мы выпили за «Норвегию, как Швейцария...»

Тут я вдруг почувствовал в моих собеседниках какую-то коренную разницу сравнительно с русскими студентами. У нас както не принято после беседы о Толстом произносить тост за «Великую Россию» или за «Московское государство».

Потом в городе Тромсе к нам присоединилось еще много пассажиров. Я познакомился с купцами, адвокатами. Много говорили о подробностях путешествия норвежского короля и о каком-то пасторе, депутате от социалистов: одни находили, что он как пастор имеет право быть социалистом и защищать обремененный податями народ, другие, напротив, горячо доказывали, что это несовместимо с званием пастора, бранили его. Про этого пастора я слышал и раньше несколько раз... И вдруг как-то мне представилось, что Норвегия — маленькая страна, что между людьми тут как-то тесно. Вам это, конечно, ничего не скажет, вы знаете, что в Норвегии только два миллиона жителей, но тут не в жителях дело. Это такое невыразимое субъективное ощущение... Не знаю, отчего оно происходит: оттого ли, что наша Россия так огромна, или что горы так величественны, а люди малы; или оттого, что привык понимать и любить Норвегию по Ибсену, а тут приходится, как и везде, встречаться с маленькими, обыкновенными людьми...

Студенты меня зовут смотреть Лофоденские острова. До свидания. Напишу вам из Трондгейма или Стокгольма.

Лофоденские острова я видел издали, мне показывали разные излюбленные туристами горы: Семь Сестер, гору, похожую на всадника, гору со сквозным отверстием, много всего такого. Утро творения в Lingenfiord'е более уже не повторялось. Гораздо сильнее этих гор волновали меня разные зеленые площадки, кусты, деревья, цветы, которые чаще и чаще стали показываться у подножий гор, у воды фиордов. После каменного безлесного Мурмана, Нордкапа, Гаммерфеста мне казалось, что я постепенно опускаюсь на какую-то совсем новую землю, которой никогда не видел в действительности. Больше всего я испытывал это настроение в Тронд-

гейме во время прогулки к Лерфосским водопадам. Деревья тут и так великолепные, а мне они казались гигантскими... Вы поймете меня, если представите себе, что я превратился в маленького красного паучка на коре старой липы. Итак, помните, мой друг, что путешествие с севера на юг Норвегии — это прежде всего радость от встречи с зеленой землей. Хорошо на небесах, но на земле куда-куда лучше...

Мне удалось как-то хорошо проститься с Норвегией. Вышло это так. Поезд из Трондгейма в Стокгольм идет сначала долго-долго по берегу фиорда. Солнце садилось... Мое волшебное одинокое путешествие приходило к концу, — и я хотел оглянуться назад на свой путь. Вдруг на станции в вагон вошел высокий бритый господин в черной шляпе, в черном пальто и с ботанической сумкой, сел против меня и тоже стал задумчиво глядеть на фиорд. Я попробовал заговорить с ним... Он вздрогнул от неожиданности. Потом сконфузился и стал извиняться, что немецкий язык застал его врасплох. Как только он узнал, что я русский, сейчас же забросал меня вопросами... не о России... нет, а о Норвегии, — как она мне показалась?

Это был первый настоящий культурный человек, которого я встретил в своем путешествии. Я обрадовался ему, как тем первым деревьям в Трондгейме... Лицо у него такое нервное, изящное, в скандинавском профиле сказывались века европейской культуры. Мне было радостно видеть его, и потому я искренно и горячо ему ответил:

— Норвегия — чудная страна, люди здесь работают, любят родину, любят свободу, ценят науку, ценят искусство...

И еще что-то я говорил, много хорошего...

Когда я кончил, этот профессор, или пастор, вскочил и стал жать мне руки. Тут поезд остановился, незнакомец поспешил надеть свою сумку, хотел было выйти, но вдруг на пороге задержался. „Gott behüte sie!“ — сказал он мне, горячо пожал еще раз руку и вышел...

Дорогой друг, сейчас произошло крупнейшее событие в моем путешествии. Пока я писал вам письмо, в моей комнатке на пятом этаже стокгольмской гостиницы постепенно темнело. Меха-

ническი, по старой привычке, я зажег свечу и продолжал писать. Вдруг что-то блеснуло налево. Посмотрел туда — и что же! В окне глядит на меня настоящая темная ночь, и блестят настоящие звезды. Первая звезда, первая ночь за три месяца! И потом это пламя света и эти колеблющиеся тени...

Я стал бродить из угла в угол по своей комнате. И вдруг мне блеснула та страна без имени, без территории, в которую, помните, мы пытались убежать детьми. И все мое одинокое волшебное путешествие вдруг получило единый смысл, единое значение: я шел в страну без имени за волшебным колобком.

СОДЕРЖАНИЕ

Солнечные ночи

К варягам

Редактор *В. С. Сидоренко*. Художественное оформление (двухцветные аппликации ножницами) художника *Н. А. Фурсей*

Техред *А. И. Филева* Корректура *А. А Веселовской*

Уп. Севкрайлита № 883 Авт. л. 13,447 Форм. $72 \times 105\,^{1}/_{32}$
Огиз № 738 Печ. л. $8^{3}/_{8}$ Сдано в набор 25/X 1935 г.
Инд. X-16 Бум. л. $4^{3}/_{16}$ Подп. к печ. 23/XI 1935 г.
Тираж 15 000 Зн. в б. л. 145920 Заказ № 2484

Цена 4 р. Переплет 1 р.

Тип. «Северный Печатник» УМП Севкрая, Вологда, ул. К. Маркса, 70.